



Михаил Шишкин

Письмовник

Новый роман лауреата премии "Большая книга",
"Русский Букер", "Национальный бестселлер"

Михаил Шишкин
Письмовник

«АСТ»

2010

Шишкин М. П.

Письмовник / М. П. Шишкин — «АСТ», 2010

В новом романе Михаила Шишкина «Письмовник», на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть – такой же дар, как и любовь.

© Шишкин М. П., 2010

© АСТ, 2010

Михаил Шишкин

Письмовник



Открываю вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой.

Пишут, что в начале снова будет слово. А пока в школах еще по старинке талдычат, что сперва был Большой взрыв и все сущее разлетелось.

Причем все якобы существовало уже до взрыва – и все еще не сказанные слова, и все видимые и невидимые галактики. Так в песке уже живет будущее стекло, и песчинки – семена вот этого окна, за которым как раз пробежал мальчишка с мячом, засунутым под футболку.

Это был такой сгусток тепла и света.

А размером эта ни окон ни дверей полна горница людей была, сообщают ученые, с футбольный мяч. Или арбуз. А мы в нем были семечками. И вот там все созрело и, напыжившись, поддало изнутри.

Первоарбуз треснул.

Семена разлетелись и дали ростки.

Одно семечко пустило росток и стало нашим деревом, вот тень его ветки елозит по подоконнику.

Другое стало воспоминанием одной девочки, которая хотела быть мальчиком, – в детстве ее одели на маскарад Котом в сапогах, и все кругом норовили дернуть за хвост и в конце концов оторвали, так и пришлось ходить с хвостом в руке.

Третье семечко проклюнулось много лет назад и стало юношей, который любил, когда я чесала ему спинку, и ненавидел ложь, особенно когда начинали уверять со всех трибун, что смерти нет, что записанные слова – это что-то вроде трамвая, увозящего в бессмертие.

По гороскопу друидов он был Морковка.

Перед тем как сжечь дневник и все свои рукописи, он написал последнюю фразу, ужасно смешную: «Дар оставил меня», – я успела прочитать до того, как ты вырвал из моих рук ту тетрадку.

Стояли у костра и поднимали от жара ладони к лицу, глядя на кости пальцев, которые проступали сквозь прозрачную красную плоть. Сверху падали хлопья пепла – теплые сгоревшие страницы.

Да, чуть не забыла, а потом все сущее снова соберется в точку.

Вовка-морковка, где ты сейчас?

И что же это получается? Юлия-дурочка старается, шлет ему письма, а жестокосердный Сен-Пре отделяется короткими шутивными посланиями, иногда в стихах, рифмуя селедок и шведок, амуницию и сублимацию, засранное очко и улыбку Джоконды (кстати, ты понял, чему она улыбается? – я, кажется, поняла), пупок и Бог.

Любимый мой!

Зачем ты это сделал?



Оставалось только выбрать себе войну. Но за этим, понятно, дело не стало. Уж чего-чего, а этого добра у непобитого отечества хлебом не корми, и дружественные царства, не успеешь толком и газету развернуть, уже ловят на штыки младенцев да насилуют старух. Почему-то особенно бывает жалко невинно убиенного царевича в матроске. Женщины, старики и дети как-то привычно проскальзывают мимо ушей, а тут матроска.

Отставной козы барабанщик соло, над колокольной хмарь, родина-мать зовет.

На призывном пункте призывали: каждому нужен свой Аустерлиц!

Действительно нужен.

На медкомиссии военврач – огромный череп лыс, шишковат – внимательно посмотрел в глаза. Сказал:

– Ты всех презираешь. Знаешь, я ведь тоже был таким. Мне было столько же, сколько тебе, когда я проходил первую практику в больнице. И вот нам однажды привезли бомжа, которого сбила машина. Еще жил, но уж очень сильно его изувечило. Особенно и не старались. Видно, что никому старик не нужен и никто за ним не придет. Вонь, грязь, вши, гной. В общем, положили в сторонку, чтобы ничего не испачкал. Сам дойдет. А я должен был потом убрать, помыть и отправить тело в морг. Все ушли, оставили меня одного. Я вышел покурить и думаю – зачем мне все это надо? Кто мне этот старик? Зачем он нужен? Пока курил, тот дошел. И вот вытираю кровь, гной – кое-как, чтобы поскорее его отправить в морозилку. И тут подумал, что, может, он кому-то отец. Принес тазик с горячей водой, стал его обмывать. Тело старое, заброшенное, жалкое. Никто его годами не гладил. И вот я мою его ноги, страшные скрюченные пальцы, а ногтей почти и нет – все съел грибок. Протираю губкой все его раны, шрамы – и тихо с ним разговариваю: ну что, отец, тяжелая у тебя получилась жизнь? Нелегко, когда тебя никто не любит. Да и как это в твоём-то возрасте жить на улице бездомной собакой? Но теперь-то все закончилось. Отдохни! Теперь все хорошо. Ничего не болит, никто не гонит. И вот так мыл его и разговаривал. Не знаю, помогло ли это ему в смерти, но мне это очень помогло жить.

Сашенька моя!



Володенька!

Смотрю на закат. И думаю: вдруг ты сейчас, в этот самый миг, тоже смотришь на этот закат? И значит, мы вместе.

Такая тишина кругом.

А небо какое!

Вон бузина – и та мироощущает.

В такие минуты кажется, что деревья все понимают, только сказать не могут – совсем как мы.

И вдруг очень остро чувствуешь, что на самом деле мысли и слова сделаны из той же сути, что и это зарево, или то же зарево, но отраженное вон в той луже, или моя рука с перебинтованным пальцем. Так хочется, чтобы ты все это сейчас увидел!

Представляешь, взяла хлебный нож и умудрилась резануть себе палец по самый ноготь. Забинтовала кое-как, а потом нарисовала на бинте два глаза, нос. Получился мальчик с пальчик. Вот с ним весь вечер и разговариваю о тебе.

Перечитала твою первую открытку. Да! Да! Да! Именно так! Все рифмуется! Посмотри кругом! Это же рифмы! Вот мир видимый, а вот – если закрыть глаза – невидимый. Вот часовые стрелки, а вот к ним рифма – стромбус, в миру ставший пепельницей. Вот сосна штопает веткой небо – а вот на полке аптечная травка, полезная тем, что гонит ветры. Это мой забинтованный палец, теперь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему – тот же мой палец, но еще до моего рождения и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же. Все на свете зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.

И самое удивительное, что эти рифмы уже всегда были – изначально, – их нельзя придумать, как невозможно придумать самого простого комара или вот это облако из класса долголетающих. Понимаешь, не хватит никакого воображения, чтобы придумать самые простые вещи!

У кого это было написано про людей, жадных счастья? Как хорошо сказано! Это ведь я – жадная счастья.

А еще стала замечать, что повторяю твои жесты. Говорю твоими словами. Смотрю твоими глазами. Думаю как ты. Пишу как ты.

Все время вспоминаю наше лето.

Наши утренние этюды маслом на поджаренных хлебцах.

Помнишь наш стол под сиренью, покрытый клеенкой с бурым треугольником – следом горячего утюга?

А вот это ты не можешь помнить, это только мое: ты прошел утром по траве и на солнце будто оставил сверкающую лыжню.

И запахи из сада! Такие густые, плотные, прямо взвесью стоят в воздухе. Хоть наливай в чашку вместо заварки.

И у всего кругом только одно на уме – просто идешь по полю или лесу, а всяк норовит опылитель, осеменить. Все носки в семенах травы.

А помнишь, мы нашли в поле зайца с перерезанными ногами – косилкой.

Кареглазые коровы.

На тропинке – козьи орешки.

Наша запруда – муть на дне, цветущая жижа, полная лягушачьей икры. Толстолобики бодаются с небом. Вылезает из воды и оципывает с себя водоросли.

Я легла загорать, закрыла лицо майкой, ветер шуршит, как накрахмаленное белье. И вдруг что-то в пупке щекотное – открываю глаза, а это ты тонкой струйкой сыплешь из кулака песок мне на живот.

Идем домой, а ветер испытывает деревья и нас на парусность.

Собираем опавшие яблоки – первые, кислые, на компот – и кидаемся этими паданцами.

Лес на закате зубчатый.

А среди ночи будит подпрыгнувшая мышеловка.



Сашенька моя хорошая!

Что ж, буду нумеровать письма, чтобы знать, какое пропало.

Извини, что получают короткие писульки, – совершенно нет времени на себя. И не высыпаюсь ужасно, хочется закрыть глаза и уснуть хоть стоя. Декарта убила необходимость встать затемно в пять часов утра, чтобы читать шведской королеве Кристине лекции по философии. А я еще держусь.

Сегодня был в штабе и вдруг увидел свое отражение в зеркале в полном обмундировании. Странно стало, что за маскарад? Сам себе удивился: как это я – солдат?

Ты знаешь, в этом все-таки что-то есть – жить, равняясь на скулу четвертого.

Расскажу тебе историю о пилотке. Она короткая. У меня ее сперли. В смысле, пилотку. А встать в строй без пилотки – это нарушение устава, короче, преступление.

Наш начальник начальник и командиров командир затопал ногами и пообещал, что я буду мыть сортир до окончания веков.

– Языком вылижешь, падла!

Так и сказал.

Что ж, в военной речи есть что-то вдохновляющее. Где-то читал, что Стендаль научился писать просто и ясно, изучая боевые приказы Наполеона.

А сортир здешний, далекая моя Сашка, это нужно объяснить. Представь себе дырки в загаженном полу. Нет, лучше не представляй! И каждый норовит наделать кучу не в дырку, а с краю. И залито все. Вообще работа желудка у твоего покорного и иже с ним – особая тема. В здешней отдаленности почему-то всегда болит живот. Непонятно, как можно посвятить себя науке побеждать, если сидишь все время над бездной и из тебя льется?

Короче, я ему:

– Да где ж я возьму вам пилотку?

А он:

– У тебя сперли, пойдя и ты сопри!

И вот я пошел переть пилотку. А это непросто. Вернее, даже очень сложно, поскольку каждый норовит.

И вот ходил-бродил.

И вдруг подумал: кто я? Где я?

И пошел мыть сортир. И во всем мире появилась какая-то легкость.

Нужно было здесь оказаться, чтобы научиться понимать простые вещи.

Понимаешь, в говне нет ничего грязного.



Ну вот, пишу тебе ночью. Сейчас сгрызла горбушку в постели, теперь крошки не дают заснуть, разбежались по простыне и кусаются.

В окне над головой звездно-презвездно.

И Млечный Путь делит небо наискосок. Ты знаешь, это похоже на какую-то гигантскую дробь. В числителе – половина Вселенной, и в знаменателе – другая половина. Всегда ненавидела эти дроби, числа в каком-то квадрате, в кубе, какие-то корни. Все это такое бестелесное, непредставимое, совершенно не за что ухватиться. Корень он и есть корень – у дерева. Крепкий, лезет, хватается, жрет землю, цепкий, сосущий, неудержимый, жадный, живой. А тут ерунда какая-то закорючкой, а туда же – корень!

И как можно понять минус? Минус окно – это как? Оно же никуда не денется. И то, что за окном.

Или минус я?

Такого же не бывает.

Я вообще человек всего, что можно потрогать.

И понюхать.

Понюхать даже больше. Как в книжке, которую папа читал мне в детстве перед сном. Есть разные люди. Есть люди, которые все время сражаются с журавлями. Есть люди с одной ногой, на которой они передвигаются стремительно, и у них настолько большая ступня, что они укрываются в ее обширной тени от солнечного зноя и отдыхают, словно внутри дома. А еще существуют иные люди, которые живут только запахами плодов. Когда им надо отправиться в дальний путь, то они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной запах, умирают. Вот это про меня.

Понимаешь, все живое, чтобы существовать, должно пахнуть. Хоть как-нибудь. А все эти дроби и вообще все, чему учили, – не пахнет.

За окном какой-то полуночник сейчас бредет, футболя пустую бутылку. Звонкий звук стекла по асфальту на пустынной улице.

Разбилась.

Ночью в такие минуты так одиноко и так хочется быть хоть чему-то причиной.

И нестерпимо хочется быть с тобой! Обнять тебя, приласкаться.

А знаешь, что получится, если вот этот звездный числитель за окном поделить на знаменатель? Одну половину Вселенной на другую? Получусь я. И ты со мной.

Сегодня увидела, как девочка упала с велосипеда – ободрала коленку, сидит и горько плачет, и белый гольф заляпан. Это было на набережной, где львы – пасть забита мусором, обертками, палочками от мороженого. И вот я потом шла домой и почему-то подумала, что все великие книги, картины не о любви вовсе. Только делают вид, что о любви, чтобы читать было интересно. А на самом деле о смерти. В книгах любовь – это такой щит, а вернее, просто повязка на глаза. Чтобы не видеть. Чтобы не так страшно было.

Не знаю, какая связь была с той девочкой, упавшей с велосипеда.

Она поплакала и уже, может, давно об этом забыла, а в книге ее ободранная коленка осталась бы до самой ее смерти и после.

Наверно, все книги не о смерти, а о вечности, но только вечность у них ненастоящая – какой-то обрывок, миг – как цокотуха в янтаре. Присела на минутку задние лапки почесать, а вышло, что навсегда. Конечно, они выбирают разные прекрасные мгновения, но разве не страшно остаться вот так, вечным, фарфоровым – как пастушок все тянется поцеловать пастушку.

А мне ничего фарфорового не нужно. Нужно все живое, здесь и сейчас. Ты, твоё тепло, твой голос, твоё тело, твой запах.

Ты сейчас так далеко, что совсем не страшно сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, я ведь тогда на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было. И все нюхала. Твоё мыло. Твой одеколон. Кисточку для бритья. Ботинки понюхала изнутри. Открыла твой шкаф. Нюхала свитер. Рукав рубашки. Воротник. Поцеловала пуговицу. Наклонилась над твоей кроватью, поднесла нос к подушке. Я была так счастлива! Но этого было мало! Для счастья нужны свидетели. По-настоящему можно чувствовать себя счастливым, только получив какое-то подтверждение, и если не взглядом, не прикосновением, если не присутствием, то хотя бы отсутствием. Подушкой, рукавом, пуговицей. Один раз ты меня чуть не застиг – еле успела выбежать на крыльцо. А ты увидел меня и стал швырять мне в волосы репейник. Я на тебя тогда злилась, а сейчас чего бы только не отдала вот за это – чтобы ты швырнул мне в волосы репейник!

Вспоминаю тебя, и мир разделился – до первого раза и после.

Наши свидания у памятника.

Чистила апельсин – ладонь прилипла к твоей ладони.

Ты только что из поликлиники, со свежей пломбой в зубе – запах зубного кабинета изо рта. Разрешил мне потрогать пломбу пальцем.

А вот мы на даче белим потолок, прикрыв мебель и пол старыми газетами. Ходили босиком, и газеты все время прилипали к ногам. Все перемазались. Соскребаем друг у друга белила из волос. А язык и зубы у нас от черемухи черные.

Потом вешали тюлевые занавески и оказались по разные стороны, и так захотелось, чтобы ты меня через этот тюль поцеловал!

А вот ты пьешь чай, обжигая себе язык, дуешь, чтобы остыло, делаешь маленькие глотки и так громко хлюпаешь, совсем не боясь, что это неприлично, как мне внушили в детстве. И я тоже начинаю хлюпать. Потому что больше не детство. И все можно.

Потом было озеро.

Спускаемся по крутому склону и подходим к заболоченному берегу, чувствуя под босыми ногами тропинку, влажную, пружинистую.

Полезли в плес, свободный от ряски. Вода мутная, солнечная. Холодная от родников – бьют снизу.

Тогда, в воде, наши тела соприкоснулись в первый раз. На берегу дотронуться до тебя боялась, а тут набросилась, обхватила твои бедра ногами, попыталась утопить. Я в детстве так играла на море с папой. Ты вырываешься, хочешь разорвать мои руки, я не даю. Все норовила окунуть с головой. Ресницы у тебя слиплись, наглотался воды, хохочешь, плюешься, рычишь, фыркаешь.

Потом сидим на солнце.

У тебя облупленный нос, кожа сходит лепестками от загара.

Смотрим, как колокольня на том берегу мочалит свое отражение в воде.

Сажу перед тобой почти голая, но почему-то застеснялась именно ног, пальцев. Зарыла их в песок.

Прижгла сигаретой муравья, а ты заступился.

Домой идем напрямик, через поле. В высокой сухой траве прыгают кузнечики – пристают к юбке.

На веранде ты посадил меня в плетеное кресло и стал отряхивать песок с моих ног. Как папа. Когда мы приходили с пляжа, он вот так же вытирал мне ноги, чтобы между пальцами не оставалось песка.

И все вдруг стало так ясно. Так просто. Так неизбежно. Так долгожданно.

Я встала перед тобой – в мокром купальнике. Руки опустила вниз. Смотрю тебе в глаза. Ты взялся за бретельки и стянул купальник.

Я была готова к этому уже давно и ждала, но боялась, а ты боялся еще больше, и уже все давно бы произошло, но тогда, еще весной, помнишь, я взяла твою руку и потянула туда, а ты выдернул. Теперь ты был совсем другим.

Знаешь, чего я боялась? Боли? Нет. И больно-то не было. И крови никакой не было. Подумала: вдруг ты подумаешь, что ты у меня не первый.

Вечером только вспомнила, что забыла повесить купальник сушиться. Он валялся забытый, мокрый, слежавшийся, холодный. Пах тиной.

Я прижималась к тебе и целовала твой облупленный нос. В доме никого не было, а мы почему-то шептались. И впервые можно было рассмотреть глаза – ничего не боясь и не смущаясь – карие с ореховыми и зелеными крапинками на радужке.

Вообще все вдруг изменилось – можно было все трогать, что еще только что было недоступным, не моим. Только что было чужое – а теперь свое, будто мое тело увеличилось, спросилось с твоим. Я и себя-то теперь чувствовала только через тебя. Моя кожа существовала только там, где ты ее касался.

Ночью ты спал, а я не могла. Так хотелось поплакать, но боялась тебя разбудить. Встала и пошла в ванную. Наплакалась внаглую.

И утром перед умывальником вдруг волна глупого счастья – от вида двух наших зубных щеток в одном стаканчике. Стоят, скрестив ножки, и смотрят друг на друга.

Самые простые вещи могут заставить умирать от счастья. Помнишь, уже в городе – ты заперся в туалете, а я проходила мимо на кухню, не удержалась, присела у двери и стала шептать в замочную скважину:

– Я тебя люблю!

Тихо совсем шепнула. Потом громче. А ты не понял, что я тебе шепчу, и бурчишь в ответ:

– Я скоро, скоро.

Будто мне нужна ванная.

Ты мне нужен, ты!

Вот сидишь перед духовкой с ложкой в одной руке и раскрытой поваренной книгой в другой. Что-то на тебя нашло. Сказал, что все приготовишь сам и чтобы я не мешала. А я специально заходила на кухню, будто мне что-то нужно, а на самом деле только чтобы на тебя посмотреть. Помнишь? Ты мял фарш, и я не удержалась, тоже засунула в кастрюлю руки – как чудесно было мять с тобой эту пахучую говяжью мякоть, и фарш вылезал между пальцами!

Вообще с поварешками, прихватками и сковородками ты был не в ладах – все у тебя в руках оживало и норовило вывернуться, выскочить, улизнуть.

Я все-все помню.

Лежали и не могли друг от друга отцепиться – а потом полукруг от моих зубов на твоём плече.

Наши ноги переплетаются, ступни льнут, ластятся, и скользкие после крема пальцы входят друг в друга.

В трамвае на нас оборачиваются – твой кулак у моего носа, а я целую ту косточку, которая июль.

Поднимаемся к тебе, и кажется, что лифт ползет невыносимо медленно.

Под стулом твои ботинки, в которые засунуты носки.

Ты тогда в первый раз целовал меня там, а я никак не могла расслабиться. Вырастаешь и знаешь, что там нельзя трогать. Это ведь только мальчикам кажется, что у девочек между ног тайна, а там мокроты, миазмы, бактерии.

Утром не могла найти трусики, куда-то пропали, все обыскала, не нашла. Я и сейчас думаю, что это ты их стащил и куда-то спрятал. Так и пошла. Иду по улице, ветер лезет под юбку, и такое удивительное ощущение, что это ты везде кругом.

Я знаю, что я есть, но мне нужны все время доказательства, прикосновения. Без тебя я – пустая пижама, брошенная на стул.

Только из-за тебя мне стали дороги мои собственные руки, ноги, мое тело – ведь ты его целовал, ведь ты его любишь.

Посмотрю в зеркало и ловлю себя на мысли: а ведь это та, которую любит он. И нравлюсь себе. А раньше никогда себе не нравилась.

Закрываю глаза и представляю себе, что ты здесь.

Тебя можно потрогать, обнять.

Целую твои глаза – и губы становятся зрячими.

И так хочется провести кончиком языка, как тогда, по твоему шовчику, который тянется у тебя там, внизу, от и до, будто у малыша-голыша, и тебя слепили из двух половинок.

Где-то прочитала, что самые пахучие части тела ближе всего к душе.

Сейчас выключила свет, чтобы, наконец, свернуться клубочком и заснуть, а на небо, пока писала тебе, набежали облака. Будто кто-то стер все грязной тряпкой со школьной доски и остались одни белесые разводы.

Я чувствую, что все будет хорошо. Судьба – лишь пугает, но сохранит, защитит от настоящей беды.



Сашка, родная!

Я хорохорюсь, а на самом деле без тебя, без твоих писем я бы давно уже если не сдох, то перестал быть самим собой – не знаю, что хуже.

Я тебе писал про нашего мучителя, которого прозвал Коммодом, и кличка эта к нему прицепилась – как ты догадываешься, вовсе без связи с сыном Марка Аврелия. Сегодня он особенно постарался объяснить мне, что есть жизнь. Не хочу тебе про это писать. Хочется забыться, подумать о чем-то нездешнем, о том же Марке Аврелии.

Не понимаю, какая может быть связь между Марком Аврелием, который умер миллион лет назад и о котором все знают, и мной, который тут сидит в казенных колючих подштанниках и о котором никто не знает.

А с другой стороны, вот он написал: ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым.

Вот это нас, наверно, с ним и объединяет – два счастливых человека. И какая разница, что он когда-то умер, а я еще здесь. По сравнению с нашим счастьем смерть кажется пустяком. Он перешагнул ко мне через нее, как через порог.

Это ощущение счастья идет оттого, что понимаю: все это кругом – ненастоящее. А настоящее – это как я тогда оказался у тебя впервые и зашел помыть руки в ванную, а там увидел твою губку и так остро почувствовал, что она касалась твоей груди.

Сашенька моя! Вот мы были вместе, а я ведь это по-настоящему стал понимать только здесь.

А сейчас вспоминаю и удивляюсь, что я всего этого тогда не ценил.

Помнишь, у вас на даче выбило пробки, ты мне светила свечкой, а я стоял на стуле и ковырялся с жучком. Взглянул на тебя, а ты такая была необыкновенная в полумраке, и свет от пламени переливался по твоему лицу! И в глазах отражался огонек свечи.

Или вот, мы идем по нашему парку, а ты сбегаете все время с асфальтовой дорожки, рвешь пучки травы и приносишь мне показать то одну метелку, то другую:

– А это что? А это как называется?

Идешь с перепачканными землей каблуками.

У тебя бедный палец на ноге синий-синий – в трамвае кто-то отдал, а ты в босоножках.

И озеро вижу.

Вода загустела, заросла ряской, облаками.

Ты подошла к самой кромке, вступила, подобрала юбку, в воду по щиколотки – попробовать. Крикнула:

– Холодная!

Вытянула ногу и поводила по поверхности, словно разглаживая складки.

Все вижу, будто это не тогда было, а прямо сейчас происходит.

Разделась, завязала волосы, чтобы не рассыпались, входишь в воду, несколько раз проверяя узел на голове.

Перевернулась на спину и молотишь озеро ногами, в снопе пены мелькают розовые пятки.

Потом ложишься звездочкой, разбросав руки и ноги, узел на голове развязался, и твои длинные волосы расплываются во все стороны.

Позже, на берегу, я украдкой, чтобы ты не заметила, бросаю взгляд туда, где у тебя между ног из-под резинки купальника выбились мокрые завитки.

А теперь вижу твою комнату.

Снимаешь туфли – наклоняешься одним плечом, потом другим.

Целую твои ладони, а ты говоришь:

– Не надо, грязные!

Обхватила мою шею руками и целуешь, кусая губы.

Вдруг вскрикнула.

Я даже испугался:

– Что случилось?

– Ты мне локтем волосы прижал.

Наклонилась надо мной, касаешься соском моих век, ресниц. Надвинула волосы шатром на нас обоих.

Стаскиваю с тебя трусики, какие-то детские, кремовые, с бантиками, ты помогаешь, поднимаешь колени.

Целую тебя там, где кожа мягче и нежнее всего, – в бедра изнутри.

Зарываю нос в густую теплую поросль.

Кровать так отчаянно скрипит, что перебираемся на пол.

Застонала подо мной, прогнулась мостиком.

Лежим, и сквозняк – приятно по потным ногам.

У тебя на спине нежный пушок и узоры от жестких рубцов китайской циновки. Вожу пальцем по твоим острым позвонкам.

Беру ручку на столе, начинаю соединять чернильной линией твои родинки на спине. Тебе щекотно. Потом выкручиваешься у зеркала, смотришь через плечо, что получилось. Я хочу смыть, а ты говоришь:

– Оставь!

– Так и будешь ходить?

– Да.

Забросила ноги на стенку и вдруг побежала мелкими шажками по обоям, выгнулась, уперлась локтями в циновку, замерла вверх ногами. Не удержался, захотелось поцеловать тебя там – сразу сложилась, рухнула.

Я ухожу, а ты вышла проводить меня к двери – в одной маечке, под ней ничего нет, застеснялась и тянешь спереди вниз рукой за край.

В последнюю нашу ночь проснулся и слушал, как ты сопишь.

Ты привыкла спать «куколкой», закутала голову в одеяло и оставила только лунку для дыхания. Лежу и смотрю в эту лунку. А ты смешная такая – заснула с шоколадной конфетой за щекой. И у тебя изо рта шоколадная струйка.

Лежу и сторожу твое дыхание.

Прислушиваюсь к твоему ритму. И пытаюсь дышать с тобой вместе. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох.

Медленно-медленно. Вот так.

Вдох.

Выдох.

Ты знаешь, мне никогда раньше не было так хорошо и уютно, как в ту минуту. Смотрел на тебя, такую красивую, такую безмятежную, сонную, трогал волосы, выбившиеся из твоего одеяльного кокона, и так захотелось защитить тебя от этой ночи, от каких-то пьяных ночных криков за окном, от всего мира.

Сашенька моя! Спи! Спи спокойно! Я здесь, дышу вместе с тобой.

Вдох.

Выдох.

Вдох.

Выдох.

Вдох.

Выдох.



Заглянула в почтовый ящик – от тебя опять ничего.

Надо готовиться к семинару завтра, а в голове пусто. Наплевать. Сварю кофе, залезу с ногами в кресло и буду сейчас говорить с тобой. Слушай.

Помнишь, было так здорово рассказывать друг другу что-нибудь про детство. Я ведь тебе про себя так много еще не рассказала.

А теперь грызу ручку и не знаю, с чего начать.

Знаешь, почему меня так называли?

Я в детстве обожала всякие красивые коробочки, шкатулки в нижних ящиках нашего серванта, подолгу разбирала хранившиеся там у мамы браслеты, брошки, игральные карты, открытки – все на свете. И вот в одной коробке я нашла детские сандалики – крохотные, ссохшиеся, кукольные.

Оказалось, что у меня был старший брат. В три года он заболел, его отвезли в больницу. О нем говорили страшное слово – залечили.

Родители сразу решили родить еще ребенка. Взамен.

Родилась девочка. Я.

Мама не смогла принять ребенка, не стала кормить, не хотела меня видеть. Мне все это потом рассказывали.

Меня выходил отец. И меня, и маму.

У моей детской кровати в деревянной решетке были выпилены три прута, чтобы я могла вылезать. Но это была его кровать, того ребенка. Я ведь тогда не могла понять, что это для

него была лазейка. Это он пролезал. Мне нравилось туда юркнуть, но на самом деле я просто повторяла его движения.

Для меня тот мальчик оставался в какой-то непредставимой жизни до моего рождения, которая если и существовала, то сливалась с какими-то доисторическими временами, но для мамы он был здесь, рядом со мной, – присутствуя, не отлучаясь. Однажды мы ехали на дачу на электричке, и напротив сидел ребенок с бабушкой. Ребенок как ребенок, писклявый, капризный, сопливый, картавый. Все чего-то от своей бабки хотел. Та его без конца шпыняла:

– Да угомонись ты!

И помню, как мама дрогнула, сжалась, когда старуха сказала:

– Саша! Выходим!

Когда мы вышли из поезда, мама на платформе отвернулась и стала отчаянно рыться в сумочке, а я видела, что у нее хлынули слезы. Я захныкала, и тогда она обернулась, стала целовать меня мокрыми губами, успокаивать, что все хорошо, что просто ей мушка залетела в глаз.

– А теперь все хорошо!

Она высморкалась, подкрасила ресницы, хлопнула звонко пудреницей. И мы зашагали на дачу.

Помню, что я именно тогда подумала: хорошо, что тот ребенок умер. Иначе где бы тогда была я? Шла и повторяла про себя мамины слова: «А теперь все хорошо!».

Я ведь не могла не родиться. И все кругом, и все, что было, что есть и будет, – тому простое и достаточное доказательство, даже вот эта горластая форточка, и эти лепешки солнца на полу, и створоченные лепестки от свернувшегося молока вот в этой кружке с кофе, и вот это полинявшее зеркало, что играет с окном в гляделки – кто кого переглядит.

Девочкой я часами вглядывалась в зеркало. Глаза в глаза. Почему эти глаза? Почему это лицо? Почему это тело?

А вдруг это не я? И это не мои глаза, не мое лицо, не мое тело.

А вдруг я – с этими глазами, лицом и промелькнувшим телом – это только воспоминание какой-то старухи, которой я когда-нибудь стану?

Часто я играла, что на самом деле есть две меня. Будто сестрички-близняшки. Я и она. Как в сказках: одна плохая, другая хорошая. Я – послушная, она – оторва.

Я ходила с длинными волосами, и мама всегда ругалась, чтобы я их расчесывала. А она схватила ножницы и назло отхватила косу.

Мы устраивали на даче театр, и все главные роли, разумеется, играла она, а я занавес раздвигала и сдвигала. И вот по ходу действия она должна была покончить с собой. Представляешь, она говорит свои последние слова с ножом в руке, потом со всего размаха бьет себя по голове и заливается настоящей кровью. Все в ужасе вскочили, а она лежит и умирает – и по пьесе, и от восторга. Только я знала, что она натерла свеклу, взяла куриное яйцо, сквозь дырочку высосала, а с помощью шприца, взятого у мамы, ввела этот сок в яйцо и спрятала в парике. Она вскочила вся в свекольной крови и визжит от радости, что смогла всех провести:

– Поверили! Поверили!

Ты просто не представляешь себе, что значит все время зависеть от нее! Ты не представляешь себе, что значит всю жизнь донашивать за ней обноски. Ей, этой принцессе без горошины, всегда покупали новые красивые вещи, а мне доставались они же, но уже старые, противные – донашивать. Наряжают в школу после летних каникул – у нее новые туфельки, а я должна влезать в ее старый плащик с дырявыми карманами, с пятном на лацкане.

Все детство она тиранила меня как хотела. Помню, я провела по полу белую границу мелом, поделила нашу комнату пополам. Так она ее стерла и провела линию так, что я могла только ходить по краю от своей кровати к столу и к двери. Маме жаловаться было бесполезно,

потому что с мамой она была сущим ангелом, а когда мы оставались одни, начинала меня щипать и дергать больно за волосы, чтобы я не ябедничала.

Никогда не забуду – мне подарили чудесную куклу, огромную, говорящую, которая закрывала и открывала глаза и даже умела ходить. Стоило мне отвернуться на мгновение, а моя мучительница уже оголила ее, увидела, что чего-то нет, – и пририсовала. Я зарыдала, побежала к родителям – те только рассмеялись.

С ней невозможно было договориться! Я что-то предлагаю, а она топает ножкой и заявляет:

– Здесь будет так, как говорю я, иначе здесь вообще ничего не будет!

Глаза сузились, мечут молнии, и еще верхняя губа дергается, обнажая острые зубки. Сейчас прямо вцепится.

Помню, как я испугалась, когда мама спросила меня, с кем это я разговариваю. Я соврала:

– С собой.

Я понимаю, это происходило, когда мне нужно было, чтобы меня любили. Она появлялась, когда мне нужно было бороться за любовь других. То есть почти всегда – даже когда я была сама с собой. И никогда – с папой. С папой все было по-другому.

И маму, и меня он называл одинаково – зайками. Наверно, ему приятно было крикнуть:

– Зайка! – и обе откликались, одна из кухни, другая из детской.

Когда он приходил домой, то я, прежде чем открыть дверь, должна была, чтобы не впустить чужих, спрашивать:

– Кто там?

Он отвечал:

– Швец, жнец и на дуде игрец.

У него даже вытереть ноги на коврике в прихожей получалось как станцевать.

Он любил приносить странные подарки. Говорил:

– Угадай!

Но угадать было совершенно невозможно. То это был веер, то пиала, или лорнет, чайница, пустой флакон, сломанный фотоаппарат. Один раз принес маску японского театра но. Даже притащил откуда-то настоящую слоновью ногу, пустую внутри, для зонтов и тросточек. Мама ругалась на него, а я от его подарков чувствовала себя совершенно счастливой.

Ни с того ни с сего он мог сказать:

– Брось ты свои уроки!

И мы устраивали концерт. Любили зудеть на гребешках, обернутых папиросной бумагой, от этого ужасно чесались губы. Коробка из-под торга становилась бубном. Отвернув угол ковра на полу, он принимался отбивать чечетку, пока снизу соседи не начинали стучать. Или хватал коробку с шахматами, начинал трясти в ритм, и все внутри грохотало.

Он заставлял меня играть с ним в шахматы, всегда выигрывал и, поставив мне мат, радовался, как ребенок.

Он знал все танцы на свете и учил меня танцевать. Почему-то очень любила гавайский, мы танцевали, не вынимая рук из карманов.

Один раз за столом он сказал, чтобы я не кочевряжилась, а то он мне стакан кефира выльет на голову.

Я сказала:

– Не выльешь!

И вдруг оказалась вся в кефирной жиже. Мама в ужасе, а я в восторге.

Мне никогда не нужно было бороться за его любовь.

Но без папы та, другая я, преследовала меня беспрестанно.

У меня всегда были мучения с кожей, а у нее – гладенькая, чистая. Кожа – это ведь не мешок для внутренностей, это то, чем мир до нас дотрагивается. Его шупальце. И заболевание

кожи – это просто способ оградить себя от прикосновений. Сидишь себе, спрятавшись, будто в кокон. Она – та, другая я, ничего этого не понимала. Не понимала, что я всего боюсь – и больше всего быть с другими. Не понимала, как можно в гостях, когда все веселятся, запереться в туалете и сидеть просто так, не снимая трусов. Не понимала, как можно выучить наизусть доказательство теоремы Пифагора, а у доски открыть рот и остолбенеть, оставить свое тело, витать кругом и смотреть, будто со стороны, на себя беспомощную, жалкую, опустевшую. Про Пифагора у меня в голове осталось только, что, когда родители ему, ребенку, показали на столике основные формы, через которые невидимое являет себя людям: шар, пирамиду, куб, шерстяные лоскутки, яблоки, медовые лепешки и кувшинчик с вином, – и назвали их имена, то Пифагор, выслушав объяснения, опрокинул столик.

А сочинения за нее я всегда писала. И получала двойки. При этом учительница зачитывала их перед классом, вздыхая:

– Сашенька, тебе тяжело будет в жизни.

И ставила двойку, потому что я всегда писала не о том. Дают на выбор три темы, нужно писать про первое, про второе или про третье – а я пишу про пятое-десятое. Мне пятое-десятое важнее.

Я была уродка из семейства плеченогих, крыложаберных и мшанок. А она – хоровод Манаимский с глазами как озера Есевонские, что у ворот Батраббима. Я же помню, как меня поразило, каким взглядом смотрит на нее физрук на уроке.

Однажды переодевалась после школы и заметила, что в окне дома напротив кто-то из-за шторы за мной подглядывает в бинокль. Я от ужаса присела под подоконник, а она, наоборот, начала устраивать целое представление.

Когда я была маленькой, она мне говорила ночью, чтобы напугать, что она – ведьма и обладает властью над людьми. А в доказательство приводила свои глаза – левый голубой, а правый – карий. И рассказывала, что у нее были бородавки, а когда мы ночевали в гостях, то она помылась мочалкой в том доме, после чего у нее бородавки исчезли, а у другого ребенка, который там жил, появились. Но главным аргументом были, конечно, глаза. Она говорила, что может кого угодно сглазить. Девчонки ее не то чтобы боялись, но мало ли что. Она действительно умела заговаривать кровь – полижет ранку, прошепчет что-то, и кровь останавливалась.

Она и сейчас не дает мне жить. И никогда не знаешь, когда она снова появится. То исчезнет и нет ее месяцами, то вдруг – вот она я, не ждали?

Издается надо мной, что я в библиотеке – из жалости к умершим и никому не нужным авторам – беру самые забытые книги, потому что иначе об этих писателях никто и не вспомнит. Мол, сама неряха и растрепана, а понравившиеся мысли подчеркиваю аккуратно, по расческе. Встанет в позу и учит, как старшая сестра: нельзя прожить жизнь такой размазней, нужно научиться быть выше травы и громче воды! Запомни, сестренка, семнадцатое правило Фалеса Милетского: лучше вызывай зависть, чем жалость!

А как она над тобой издевалась!

Помнишь, как сидели на веранде и ели клубнику – кислую, невкусную. Обмакивали ее в сахарный песок. А она придумала обмакивать в мед. Налила себе из банки мед в блюдце и облизывает ложку. И смотрит на тебя. И проверяет свой взгляд в зеркале. А я этот ее взгляд хорошо знаю, когда веселое разноглазое зло уже ее распирает.

Облизнула ложку, взяла двумя пальцами за кончик и вдруг швырнула ее за спину в открытое окно веранды.

И смотрит на тебя.

– Принеси!

Я хотела крикнуть тебе: «Стой! Не смей этого делать!» И не смогла из себя ни слова выдавить.

Ты встал, пошел искать ложку – а там заросли ежевики и одичавшей малины. Вернулся весь исцарапанный, на руках бусинки крови. Молча положил на стол ложку, всю в приставшей земле, сухих травинках, повернулся и ушел.

Она только скривилась на грязную ложку. И дальше как ни в чем не бывало макает клубнику в мед и кусает своими зубками.

Я не выдержала, бросилась за тобой, схватила за руку, хотела, как она, лизнуть царапину, заговорить кровь, а ты отпихнул меня.

– Да пошла ты! – и с таким презрением на меня посмотрел.

Сел на свой велосипед и поехал.

Как же я тебя тогда ненавидела!

Вернее, ее.

Вас обоих!

И как хотела, чтобы с тобой что-то случилось, прямо сейчас, что-то плохое, ужасное, злое.

Я сказала себе, что к тебе не пойду.

И побежала на следующий же день.

Как сейчас все это снова вижу и чувствую кожей: с утра накрапывает, туман залез на забор, все дорожки в лужах. Иду к тебе под зонтом, и на мосту через овраг дождь сыплет сильнее.

Между нашими дачами – кусок леса, там все тропинки развезло, и зелень прет безымянная, это только ты давал растениям имена.

Прохожу мимо ваших соседей на углу, заглядываюсь через забор на розы, огромные, тяжелые, кочанами. Под дождем еще пахучее.

Побоялась подняться по ступенькам на крыльцо, сложила зонт и подкралась к самым окнам веранды. Поднялась на цыпочки и увидела за дождливыми стеклами тебя. Ты лежишь на диване, закинув забинтованную ногу на спинку, и читаешь какой-то толстый том.

Вот, пожелала тебе зла, и ты упал с велосипеда в канаву.

Теперь знаешь, почему ты в тот вечер подвернул ногу и валялся потом в кровати.

Стояла под дождем и смотрела на тебя. Ты почувствовал, поднял голову, увидел меня, улыбнулся.



Да, Сашенька моя дачная, как давно это было и в какой-то совсем другой и далекой жизни.

Так хорошо было лежать и писать всякую чушь в дневнике, прислушиваясь к шороху дождя по крыше и зудению комаров на веранде. Выглянешь в окно – там яблони от тумана безногие. На бельевой веревке прищепки мокнут, с них каплет.

Из-за дождя читать темно – включаешь среди дня свет.

Положил томище Шекспира на колени – на нем в тетрадке писать удобно.

А длинные сосновые сдвоенные иглы были закладкой.

Знаешь, о чем я тогда писал? О Гамлете. Вернее, о себе, что вот и у меня умер, а может, и не умер отец, а мать вышла замуж за другого, да еще и слепого, но совершенно непонятно, почему все должны травить друг друга и пронзать острыми предметами, не заливая при этом сцену кровью. А если все умрут без всяких надуманных злодейств и интриг, просто так, сами по себе, прожив жизнь – это что, уже не будет Гамлет? Да еще страшнее! Подумаешь, призрак отца! Детские страшилки.

И чего стоит яд, налитый в ухо!

И почему все начинается только с его возвращения в отчий замок, а что же, до этого он не был Гамлетом? Ведь еще ничего не случилось, занавес еще не открылся, Бернардо с Франциско еще не начали пререкаться, хотя в уставе все четко оговорено, – но он уже Гамлет.

А ведь это и есть самое интересное – что было с ним до всех этих встреч с призраками, отравлений, глупых театральных трюков, вроде прятаний за ковер.

Жил себе – вот как я живу. Без всяких предсмертных монологов в стихах.

И нужно написать его жизнь до. Например, как в детстве играл в почтальона – брал охапку старых газет и рассовывал в почтовые ящики. И как в школе на переменах прятался с книжкой в раздевалке и в библиотеке – над ним издевались и самые трусливые, и самые слабые – вымещали то, что терпели от других. Знаешь, кстати, какое у меня было первое разочарование в литературе? Прочитал, как средневековые шуты задают своим сеньорам каверзные вопросы, а те старательно на них отвечают и каждый раз попадают впросак, и вот на перемене тоже попробовал спросить что-то простодушно-едкое у своих мучителей, а те, не дослушав, – хлоп меня по ушам!

А про Гамлета еще нужно рассказать, как однажды он купался в озере, к нему подплыл один дядечка и сказал: «Мальчик, ты неплохо плаваешь, но твой стиль нечистый. Давай я тебе покажу!»

И вот этот учитель плавания поддерживал снизу, и рука все время соскальзывала с живота все ниже и ниже, будто случайно.

И про голубятню. В детстве, когда мы еще жили на старой квартире, во дворе сосед держал голубятню, и когда он ждал возвращения своих голубей из полета, то смотрел не в высоту, а в таз с водой, объяснял, что так видней небо.

Еще я писал, что хочу стать самим собой. Я еще не я. Не может быть, чтобы вот это было мной. Хотелось вырваться из календаря.

Вот, вырвался.

Хорошо, что ты не видишь, где я сейчас и что вокруг. Не описываю это, и оно вроде не существует вовсе.

Помнишь, у тебя на полке были красивые камушки, которые ты когда-то привезла с моря? Ты однажды взяла круглую гальку и вставила ее себе в глаз, будто монобль. Я эту гальку забрал, и она лежала на подоконнике. И все время на меня смотрела. И вдруг я понял, что это и есть чей-то зрачок. И он меня видит. И не меня только, а вообще – все. Потому что перед этой галькой – она даже не успеет моргнуть – все промелькнет, исчезнет, и я, и эта комната, и этот город за окном. В ту секунду я почувствовал всю ничтожность и всех прочитанных книг, и всех исписанных мной тетрадок, и стало так не по себе. Такая охватила тревога. Вдруг осознал, что, наоборот, на самом деле этот зрачок ни моей комнаты, ни меня не только не видит, но и вообще не может увидеть даже при всем желании, потому что я для него промелькну так быстро, что он и не успеет ничего заметить. Он – настоящий, существует, а я для него разве существую?

А для самого себя я существую?

Существовать – это что? Знать, что ты был? Доказывать себя воспоминаниями?

Что ему мои руки, ноги, родинки, урчащие от перловки кишки, обкусанные ногти, мошонка? Таламус? Мои детские воспоминания? Однажды на Новый год я проснулся рано утром и побежал босиком к елке смотреть подарки. В комнате везде спали гости, а под елкой ничего не было – подарки купили, но просто – после шампанского с водкой – забыли положить. Пошел на кухню и проплакал там, пока мама не встала. Глупость?

Наверно, чтобы стать настоящим, необходимо существовать в сознании не своем, которое так ненадежно, подвержено, например, сну, когда сам не знаешь, жив ты или нет, но в сознании другого человека. И не просто человека, а того, кому важно знать, что ты есть. Вот я знаю, Сашенька моя, что ты существуешь. А ты знаешь, что я есть. И это делает меня здесь, где все шиворот-навыворот, настоящим.

А еще я в детстве чудом избежал смерти – встал ночью в туалет, а на кроватку рухнули полки с книгами.

Но по-настоящему я задумался о своей смерти в первый раз в школе на уроке зоологии. У нас был старый учитель, больной, и он предупредил, чтобы мы положили ему в рот таблетку из его кармашка, если упадет без сознания. Таблетку положили, но она не помогла.

Он всегда протирал очки галстуком.

Сначала он преподавал ботанику, и я его так любил, что собирал без конца гербарии, а потом решил стать, как он, орнитологом.

Он очень смешно сокрушался, что исчезают разные растения и птицы.

Стоит у доски и кричит на нас, будто мы в чем-то виноваты:

– Где теневой безвременник? Где рыхлая осока? Где кальдезия? А летний белоцветник? А василек Дубянского? Что молчите? А птицы! Где птицы? Где черный орлан? Где ястреб-бородач? Где каравайка? Я вас спрашиваю! А красноногий ибис! А мраморный чирок! А тювик! Где тювик?

При этом он сам становился похож на какую-то взъерошенную птицу. У всех учителей были прозвища, его звали Тювиком.

Знаешь, о чем я мечтал? О том, что вот я когда-нибудь встречу рано или поздно с моим отцом, и он скажет:

– Покажи-ка мне твои мускулы!

Я согну руку и напрягу мышцы. Папа обхватит мой бицепс и удивленно покачает головой, мол, ну ты даешь! Молодец!

А про невидимый мир я все понял, когда бабушка устроилась летом работать на дачу для слепых детей и меня взяла с собой.

Я уже с детства привык, что у нее дома есть разные слепые вещи. Например, она раскладывала пасьянс особыми картами с наколками в верхнем правом уголке. На день рождения она подарила мне шахматы – специальный набор, в котором фигуры разных размеров – белые больше черных. И шепнула маме, а я услышал:

– Они там все равно не играют.

На той даче было сначала странно, но потом даже понравилось – вдруг почувствовал, что стал невидимкой.

Вот идет какой-нибудь мальчик с лейкой в руке, слегка касаясь ногой бордюра дорожки, а я прохожу мимо, и он меня не видит. Но это мне только так казалось. Часто меня окликали:

– Кто здесь?

На самом деле спрятаться от слепого очень трудно.

Утром у них была зарядка, а потом целый день занятия, игры. Сначала непривычно было смотреть, как они выбегают на зарядку цепочкой, держась одной рукой за плечо переднего.

Во дворе в клетках жили кролики, за которыми они ухаживали. Была целая трагедия, когда однажды утром клетки оказались пустыми – украли.

С ними много пели. Почему-то считается, будто слепые обладают исключительными музыкальными способностями, особо тонким слухом и будто все они прирожденные музыканты. Ерунда, конечно.

Каждый день занимались лепкой. Одна девочка слепила птичку, которая сидела на ветке, как человек на стуле.

Вообще, уроки у них проходили совсем не как у нас в обычной школе. Помню, меня поразило, что на занятиях они должны были окунать руку в аквариум и трогать рыбок. Показалось, так здорово! Я потом, когда в комнате никого не было, подошел к аквариуму и закрыл глаза. Закатал рукав и опустил руку в воду. Прекрасная золотая рыбка на ощупь оказалась какой-то склизкой гадостью. И вот именно в ту минуту мне стало страшно – по-настоящему страшно, что и я могу когда-нибудь ослепнуть.

А для них быть слепым – нестрашно. Незрячий боится оглохнуть. Он боится тьмы в ушах. И вообще, слепоту придумали зрячие.

Для слепого что есть – то есть, он с этим и живет, из этого и исходит, а не из того, чего нет. Страдать из-за того, чего нет, еще надо научиться. Мы же не видим цвета справа от фиолетового, и ничего. Если чувствуем себя несчастными, то не от этого.

Бабка их всех жалела, и они к ней льнули. Иногда мне казалось, что она их больше любит, чем меня. Ерунда, конечно, но тоже хотелось, чтобы она вот так же погладила меня по затылку, прижала к своей необъятной груди и вздохнула ласково:

– Ах ты мой воробышек!

Их она никогда не стегала хворостиной, а мне доставалось.

Я все хотел расспросить ее про отца, но почему-то боялся.

Вообще она мало рассказывала. Одну семейную историю я узнал от нее, когда подрос. Ее бабка родила ребенка совсем еще юной девицей. Уверяла, что зачала непорочно, но никто ей не верил. О партеногенезе тогда и не слышали. Как раз начался ледоход. Она пришла ночью на реку и положила свой кулек на льдину.

Помню, что долго не мог избавиться от той картины – ночь, льдина плывет, и кулек визжит.

А через много лет я прочитал Марка Аврелия и утешился. Там он сформулировал так: вот поросенка несут, чтобы принести его в жертву, поросенок вырывается и визжит. А чего он визжит?

Ведь всякое живое существо и всякая вещь каждое мгновение вот так вырывается и визжит. Просто нужно во всем услышать этот визг жизни – в каждом дереве, в каждом прохожем, в каждой луже, в каждом шорохе.



Так хочется прижаться к тебе и рассказывать что-нибудь глупое-глупое, дорогое-дорогое.

Помню, как родители меня привезли впервые на море – может, и не впервые, но именно тогда я в первый раз запомнила, как сначала меня вобрал в себя рокот прибоя, взял в кулак и так и носил все лето – в кулаке.

Так отчетливо помню, как мы стали спускаться по кривым улочкам, и море поднималось все выше и выше, раздвигало горизонт, как локтями, все в солнечных уколах, и как дохнуло мне в нос солью, водорослями, нефтью, гнилью, простором.

Выбежала на мостик, а он взорвался от прибоя – и я сразу получила от моря мокрую пощечину.

Настил набережной – дощат, от брызг прозрачен, будто дыры в небо, и в досках отражение чаек.

Мол бел. Помет.

Водоросли – рвань.

Коряга ошкурена морем.

Парус ложится ровень с волной.

Каждый день пляж, где проветривают подмышки.

Такое счастье бегать по мелководью, поднимая тучи брызг, сверкающих на солнце!

Галька раскалена, в прибое шипуча. Волны бьют по лодыжкам и тянут за собой в глубину, хватают за ноги, хотят повалить, утащить.

Проворные черные мухи прыгают по комкам морской травы, выброшенным недавним штормом. Волны подкрадываются искоса, и испуганные мушки то и дело взлетают.

Бутылочные стеклышки – морские леденцы – море пососало и выплюнуло. Я их собираю и угощаю родителей.

Папа начинает строить со мной замок из камушков, из песка, мы роём водяной ров, строим стены, башни, он увлекается, входит в раж. Я украшаю башни осколками раковин, флагами из конфетных оберток, а он кричит на меня, чтобы я не мешала. Я на него обижаюсь – ведь это мой замок он строит, для меня! Потом вдруг приходит волна и все рушит. Я в слезы, папа тоже расстроился. Тогда он с отчаяния начинает доламывать то, что осталось. И я с ним. Мы скачем по остаткам нашего замка и опять счастливо хохочем. Он сгребает меня в охапку и тащит в море, мы падаем в прибой. Он дурачится, ныряет, складывает перед нырком ладони, будто для молитвы.

Вода такая прозрачная, что видны алые ногти на пальцах ног – я их покрасила маминым лаком. Зажимаю нос, лезу с головой под воду, папа держит меня, я плыву, уши заложены, а подо мной бирюзовая бездна, и там, на дне, камни поросли шерсткой, и она шевелится. Вынырнешь – и кругом опять грохот.

Доплываем до деревянных мостков. Столб за долгие морские годы отрастил себе бороду из водорослей – пугает её мальков.

Мимо проплывает широкая волосатая спина.

Я хочу все время забраться подальше от берега, на глубину – папа не пускает, я принимаю его топить, хватаю за плечи, тяну за уши, за волосы – он отбивается, хватается за скользкий столб, выныривает, фыркает, капли блестят на ресницах, он хохочет. Вылезаем на деревянные мостки, идем по настилу, стараясь не занозить ноги о доски, шершавые, изъеденные солью. Бежим к маме, оба трясемся, кутаемся в полотенца, стучим зубами.

Папа все время спрашивает меня:

– Который час?

Он подарил мне часики – детские, ненастоящие, с нарисованными стрелками. Я смотрю на них с гордостью и отвечаю:

– Без десяти два.

На них всегда без десяти два.

На солнце пощипывает кожу от соли.

Мама загорает на широком полотенце, сбрасывает бретельки, чтобы плечи загорали ровно, и просит отца расстегнуть застёжку на лифчике. Рядом лежит прямо на гальке мужчина с крепкими футбольными ляжками, смотрит на нее.

Мама делает вид, что ничего кругом не замечает.

Мужчина приподнимается на локтях, чтобы заглядывать туда, где примяли полотенце ее груди, круглые, тяжелые, широко расставленные.

Я тогда еще ничего не понимала.

Вернее, я тогда уже все понимала.

Отец ловит эти взгляды. В его глазах удовольствие хозяина. Ему приятно, что у него есть то, о чем другие мечтают.

Несколько раз мы видели на пляже очень странную пару. Молодые, красивые, влюбленные. У нее не было ноги по колено. Я запомнила, как она загорала, раздвинув ноги – без десяти два. На них смотрел весь пляж, когда он брал ее на руки и нес в море. Там они брызгались, визжали, уплывали далеко, до самых буйков. Когда они возвращались и вылезали из воды, она смеялась, вырывалась из его рук, скакала на одной ноге к своему полотенцу. Люди замирали, глядя на них, то ли ужасаясь, то ли завидуя.

Я, только что из воды, набрасываюсь на маму, ледяная, облепленная мокрым песком, залезаю на нее верхом, ерзаю мерзлыми трусиками по жаркой спине. Мама визжит, сбрасывает меня и отправляется купаться – обстоятельно, как все, что она делает. Не спеша застегивает лифчик, заломив руки за спину. Поправляет бретельки, надевает белую резиновую шапочку, подолгу пряча в нее волосы. Медленно, будто проверяя каждый шаг, спускается к воде. Я

прыгаю вокруг нее, осыпая брызгами, она взвизгивает и кричит, чтобы я прекратила, норовит шлепнуть меня по попе. В купальной шапочке у нее голова вдруг становится совсем маленькой.

Помню, как она присела в воде, подгребая бескостными руками – под водой казалось, что руки и ноги без костей, – и вдруг в прозрачной воде я увидела, что она писает. Мне тогда почему-то показалось это очень странным, но сказать что-то я испугалась.

Она заплывала очень далеко, и ее резиновая шапочка качалась на волнах, как шарик от пинг-понга.

Мы с папой сидели в прибое и смотрели на маму. Так все было чудесно! Сижу, шевелю пальцами воду, волны раздвигают ноги. Кругом только счастливые люди, счастливые крики, счастливые волны, счастливые ноги.

Я потом только поняла, что отец вовсе не умел плавать. А мама плавала подолгу, и я каждый раз начинала переживать за нее, но папа только смеялся:

– Куда наша зайчиха-пловчиха денется! Ее топи – не утопишь!

Вот мама вылезает, вытирается – и снова мужчина с футбольными ляжками смотрит на нее, как она промакивает себе полотенцем купальник на груди, на животе, под мышками, между ног.

Мама ложится на живот и снова сдвигает бретельки лифчика, читает книжку. Я сажусь рядом, начинаю заплетать ей косички.

Морская вода, высыхая, оставляет на ее коже кристаллики соли.

Над нами носятся чайки, и мне кажется, что они заплетают косы ветру.

Потом ложусь у мамы под боком и закрываю глаза. Шелест волн – будто кто-то без конца переворачивает страницы.

И засыпаю счастливая.

Просыпаюсь от грома. Вокруг темно, резкие холодные порывы ветра. Вот-вот начнется гроза. Все бегут с пляжа. Первые капли бьют по голому телу, как брошенные гальки.

Мы хватаем наши вещи, бежим. Ветер дует так сильно, что опрокидывает шезлонги, по пляжу мечутся полуголые люди и ловят свои улетевшие зонты, полотенца, юбки. Море уже серое, неприкаянное, гонит беспорядочные волны. Еле успеваем добежать до нашего дома – начинается ливень. Лезу с мамой под душ – она распускает мне косички, чтобы вымыть соль из волос. Прижимаюсь к ее холодной коже, собравшейся мелкими пупырышками.

Потом сижу на диване, завернувшись в одеяло, и жду папу, обещавшего мне почитать книжку, а он моется в душе и поет какую-то арию.

Папа был тогда дирижером.

Я не находила в этом ничего особенного.

Он мне рассказывал, как его отец, мой дед, скрипач, репетировал дома, и папа-мальчик брал две палочки и, пока тот играл на скрипке, повторял движения.

Помню, как папа, когда я была совсем маленькая и ужасно любила вертеться на винтовом табурете, играл со мной на фортепьяно: кластеры в басах на педальных подержках изображали тучи. Высокие отрывистые звуки, схваченные педалью, таяли редкими снежинками в воздухе. А летний дождик получался так: только указательные пальцы – одна рука по черным, другая по белым клавишам – быстро-быстро перескакивали со звука на звук. У него была широкая рука – брала полторы октавы.

Еще мне запомнилось, как он открыл крышку, показал мне инструмент внутри и сказал:

– Видишь, как странно все устроено – в каждом сложном, необъяснимом есть что-то простое – мы всего-навсего стучим войлочными молоточками.

Он заставлял меня заниматься на фортепьяно, и я в конце концов возненавидела наш «Рениш».

Упражняюсь дома, играю бесконечные гаммы и арпеджио, а он мне говорит:

– Не хмурься!

У меня от напряжения намечалась морщина между бровей – совсем как у него.

Когда отца не было, я жульничала: ставила на пюпитр поверх нот книгу и читала ее, играя бесконечные упражнения вслепую. Однажды он застал меня за этим занятием и ужасно ругался. Стал бегать по квартире и кричать, что мне слон на ухо наступил, и за что ему такое наказание. Сказал, что природа отдыхает на детях гениев. Я от этого начинала давиться слезами и играла еще хуже. Раньше он никогда на меня не кричал. Мне казалось, что моего папу подменили, что это не он. Не могла этого тогда понять. А он просто вошел в роль и никак не мог из нее выйти.

Во время моей игры он садился на корточки, чтобы посмотреть, не провисает ли у меня ладонь, от фальшивой ноты дергался и стонал, будто прикусил язык, а один раз, когда я вместо указанных пальцев четвертого и пятого, думая, что он не заметит, играла трель вторым и третьим, он так вышел из себя, что чуть не прибил меня растрепанным Черни.

В конце концов в комнату заглядывала мама с мокрым полотенцем на лбу и требовала тишины. Не знаю, действительно ли ее мучила мигрень или это она просто так спасала меня.

Помню, как он возвращается поздно вечером – злой, сморкается и жалуется, что весь концерт боролся с насморком. И переживает, что на бис исполнили что-то не то. И даже фрак его, который мама повесила проветриться на балкон, все никак не мог успокоиться, все дирижировал.

Еще помню, как он репетировал дома, в трусах, поставив пластинку с какой-то симфонией. Я наблюдала за ним сквозь щель в двери, как он дирижировал нашими стульями, столом, книжными полками, окном. Сервант был ударными. Ковер на стене – духовыми. Чашки с небраным завтраком на столе – скрипками. Он тыкал палочкой в диван, и тот сразу отзывался басами. Взметнул пальцы к настольной лампе – заиграл далекий рожок. Он так размахивал руками и весь ходил ходуном, что лил градом пот и с носа слетали капли.

Мама заглянула и сказала, чтобы он лучше поменял перегоревшую лампочку в люстре, но папа закатил глаза, не переставая мотать головой, и захлопнул перед ее носом дверь.

В финале он схватил все звуки в кулак под самой люстрой и задушил.

Когда его не было дома, я брала без спроса футляр, в котором хранилась его дирижерская палочка, ставила пластинку на полную громкость и тоже принималась дирижировать. Выходила на балкон и дирижировала нашим двором, и соседними домами, и деревьями, и лужами, и собакой с поднятой ногой у дерева, и облаками. Но больше всего мне нравилось в финале душить музыку в кулаке.

Затем садилась за пианино и снова долбила мендельсоновскую «Песню без слов», неизменно сбиваясь в одних и тех же местах.

Потом папа стал полярным летчиком, и мне это нравилось больше.

Как восхитительно пах кожей его долгополый черный реглан!

Меховой комбинезон, унты, шлемофон делали его каким-то совсем другим. Я брала унты, залезала двумя ногами в один и скакала так по квартире – как те люди с одной ногой, о которых он мне читал.

Он привозил фигурки, вырезанные из моржовых бивней, украшения из нанизанных на шнурок зубов, банки морошки, оленью шкуру.

Укладывал меня спать и рассказывал, как в детстве мечтал стать летчиком – однажды он увидел, как рядом с их деревней на поле совершил вынужденную посадку самолет.

Ему, обыкновенному деревенскому пареньку, было непросто добиться своего – нужно было много учиться. И вообще жизнь в летном училище – он называл его учебкой – была несладкой. Там было еще пехотное училище, и в городке во время увольнительных между ними всегда происходили жестокие драки. Дрались ремнями, и папе чуть не выбили глаз пряжкой – он показывал шрам на лбу, а я жалела его и гладила пальцем этот белесый бугорок.

Однажды его в учебке посадили под арест, он говорил – на губу. Вот за что. Он должен был зимой стоять на посту с боевым оружием и охранять самолеты. Ходил вокруг ангара, и ему показалось, что кто-то мелькнул в темноте. А кругом никого, тьма, и оттепель, все кругом капает, дышит. Он положил палец на спусковой крючок, осторожно выглянул из-за угла и тут же получил тяжелый удар по голове. Спусковой крючок сам и нажался. Выстрел, грохот. Все кругом переполошились, разбуженное начальство прибежало – а оказалось, это мокрый снег на крыше ангара подтаял, и в тот самый момент, когда папа выставил голову, снежная глыба сорвалась.

Он учил меня летать – мы играли, но мне казалось, что все было по-настоящему. Мы не на диване, а в кабине. Техник берется за винт и с силой крутит его за лопасть.

– Контакт! – кричит он и отскакивает от мотора.

Я бодро кричу в ответ:

– Есть контакт!

Мотор, несколько раз чихнув, выпускает сизый клуб дыма и набирает обороты. Из-под колес убраны колодки. Мы рулим на старт. Отмашка белого флага стартера. Папа дает полный газ. От взбитых винтом вихрей самолет трепещет, трогается с места. Стремительный разбег, все быстрее и быстрее. На неровном поле машина размахивает крыльями на небольших кочках, как канатоходец руками для равновесия.

Папа плавно берет ручку управления на себя, и хвост отрывается от земли, выравнивается. Тянет ручку на себя еще сильнее – и вот машина уже висит в воздухе, и я всем телом чувствую, как мы набираем высоту. Земля уплывает из-под ног, в груди холодеет.

Внизу видно, как тень самолета несется за нами вдогонку. Гул мотора становится мягче, ангары и гаражи внизу на летном поле уменьшаются, становятся похожи на разбросанные по полу кубики, на домики из моего конструктора.

Папа нажимает на педаль, уводит ручку управления то вправо, то влево, и самолет тут же начинает вращаться, уходит то в правую, то в левую бочку. Кажется, что не самолет вращается, а земля и небо вращаются вокруг самолета.

Мы поднимаемся выше облаков и летим под сверкающим солнцем, а тень еле поспевает за нами, ныряя в облачные провалы.

Я смотрю на папу, как он сосредоточенно переводит взгляд с циферблата на циферблат, как он уверенно ведет наш самолет в разрывы между бесформенными громадами облаков, и понимаю, что люблю его больше всего на свете, больше мамы, больше себя.

Папа рассказывал о своих погибших товарищах.

Он говорил:

– Жить хотят все, а возвращаются из полета не все.

У его друзей отказал на вираже мотор. Наступила та тишина, которой так боятся летчики. Сверкающий перед глазами диск пропеллера исчез. Его три лопасти торчали, как палки. До аэродрома было не дотянуть, и летчики стали высматривать подходящую посадочную площадку. Пилот спросил штурмана:

– Как думаешь, старина, дойдем?

А тот ответил:

– Должны! Иначе у меня пропадут билеты в театр.

Садиться было некуда, нужно было прыгать с парашютом. Но кругом были деревни, а в них жили люди. Летчики могли спастись, но куда упадет и что натворит брошенная машина?

Пилот приказал штурману прыгать, но тот не оставил своего друга. Они не выпрыгнули и пытались увести самолет подальше от жилья.

Разбитую машину с мертвым экипажем нашли лишь на следующий день. Разбросанные обломки, искореженные крылья, согнутые лопасти винта, поднятый к небу хвост. У них,

видимо, что-то случилось с рулем высоты. Оба вцепились в штурвал, напрасно пытаясь выправить самолет.

Папа водил меня на кладбище, там было много могил, увенчанных пропеллерами вместо крестов. С фотографий, вставленных в их втулки, смотрели молодые красивые лица.

Однажды папа получил особое задание – срочный санрейс. Нужно было забрать на отдаленной метеостанции женщину, которой предстояли сложные роды, и доставить ее в больницу. Начался буран, и пришлось идти на вынужденную посадку на льду замерзшей реки. Да еще у самолета сломалась лыжная стойка. Папа показывал мне рукой, как он садился на одну лыжу. Самолет катился по льду, будто делал ласточку. Теряя скорость, машина все хуже слушалась, и крыло без опоры нырнуло вниз, чиркнуло по льду, самолет резко развернулся, как вокруг ножки циркуля, и замер. Буран стал заносить их снегом, папа сделал под крылом что-то вроде пещеры, и они двое суток там просидели, пока их не нашли. Женщина все время кричала, а потом стала рожать, и папе пришлось принимать у нее роды.

Каждый раз, когда папа улетал, он засовывал в карман мою старую варежку, это был его талисман. Он сказал, что тогда, в том рейсе, когда они ждали помощи на реке и не знали, придет кто-нибудь или нет, его спасла моя варежка.

Он улетал, а я, если видела в небе самолет, всегда думала – вдруг это он? И махала ему. А самолет висел в небе высоко, как паучок на невидимой паутине.

Я никогда за него не боялась – чего бояться, если с ним моя варежка? Она спасет и сохранит.

Он очень интересно рассказывал про жизнь эвенков. Они себя называют «чавчыв» – оленьи люди. Ему несколько раз приходилось останавливаться в настоящих ярангах, и он удивлялся, как эти оленьи люди могут за несколько минут построить себе в любом месте удобный теплый дом из китовых ребер и оленьих шкур.

Помню, когда отец рассказывал, как ему пришлось заночевать в тундре в такой яранге и в качестве особого лакомства ему предложили грызть оленью кость с мозгом, мама выглянула из кухни и спросила, правда ли, что у этих оленьих людей по закону гостеприимства хозяин предлагает гостю на ночь свою жену. В ее голосе мне почудилась какая-то странная интонация, будто она сомневается в его рассказах, и мне стало ужасно обидно. А папа рассмеялся и сказал, что хозяин, разумеется, предлагал ему свою жену, но она была старая, вся в язвах, а волосы сбились в войлок и кишели паразитами, что неудивительно, поскольку оленьи люди ни разу в жизни не моются от колыбели до могилы.

Иногда папа улетал надолго, но зато, когда оставался дома, он мне каждый вечер перед сном что-нибудь читал. У меня были любимые книжки – про разные удивительные страны, а самая любимая была про царство попа Ивана. Я могла слушать ее по многу раз.

Когда он читал, он сам преображался, будто читал не напечатанную книжку, а письма на пальмовых черенках и бараньих лопатках. Он завязывал мою кофту на голове, как тюрбан, садился по-турецки и говорил каким-то чужим голосом:

– Это я, поп Иван, господин господствующих, царь нагомудрых, повелитель всех повелителей. Живу я в столице всех столиц, главном граде всех земель обитаемых и необитаемых, и дворец мой – высочайшая башня, на которую по ночам взбираются звездочеты, чтобы узнать будущее. А путешествую я по моим землям в теремце на слонихе. И реки здесь текут днем в одну сторону, а ночью в другую.

Ему и книжка не нужна была, он уже все знал наизусть, а еще больше придумывал – и я каждый раз слушала такие удивительные нездешние слова затаив дыхание.

– В стране моей рождаются и обитают верблюды двугорбые и одногорбые, гиппопотамы, крокодилы, метагалинарии, жирафы, пантеры, дикие ослы, львы белые и червонные, немые цикады, грифоны и ламии. Еще здесь рождаются нетленные люди, зверь единорог, птица попугай,

дерево эбен, корица, перец и благоуханный камыш. И есть у меня дочь, царица цариц, повелительница жизни, и царство мое – ее царство.

И когда он произносил эти слова, то все кругом – и наша комната, и люстра с вечной перегоревшей лампочкой, и стопка газет на подоконнике, и шумный город за окном – все это становилось ненастоящим, а страна попа Ивана была настоящая, и сам поп Иван был настоящим, и сидел он уже не на краю моей кровати, а в теремце на слонихе и обводил царским взором свои владения.

И кругом действительно простиралось, сколько хватало глаз, царство попа Ивана, и жили там нетленные люди и немые цикады.



Сашенька моя!

Не сердись – совсем некогда было писать.

Вот, наконец, никому ничего от меня не нужно. Есть минутка побыть с тобой.

Ну почему поцелуи всегда приберегают на конец письма?

Целую тебя сразу и везде, везде!

Ладно, беру себя в руки.

Вчера были стрельбы, и ты даже не можешь представить себе, как вытянулось лицо у нашего Коммода от изумления, когда из пяти выпущенных мной пуль махальщики показали три попадания в головную мишень с четырехсот шагов!

Как тут не поразмышлять о случайности!

Ведь все на свете состоит из случая. Почему мы родились в этом веке, а не, скажем, в тридцать четвертом? Почему в лучшем из миров, а не, скажем, в худшем? И, может быть, именно сейчас, в это самое мгновение сидит где-нибудь человек и читает книгу о звонарном деле? Почему пули улетели не в прошлое или будущее, а в дырявую голову несчастной мишени? Ведь если Вот, Сашка моя дорогая, не дали дописать, а сейчас спешу тебе сообщить, что теперь я не кто-нибудь! Знай наших! Буду теперь в штабе штаны протирать да строчить приказы и похоронки. Батяка меня огорошил. Вызывает к себе и назначает, раз я грамоте обучен, в штабные писари. Я в струнку, локоть – в наш с тобой закат в пыльном окошке, кончики пальцев к букле:

– Ваше командирство!

– Ну, чего тебе?

– Я не справлюсь. Почерк у меня недоступный.

А он:

– Писать, сынок, нужно не доступно, а искренне! Все понял?

И наливает.

Протягивает:

– С назначеньцем!

Выпиваю.

Он мне селедочки на черном хлебе с лучком.

– Вот и я, сынок, был в твоём возрасте – и вдруг все понял. А потом всю жизнь пытался понять, что я тогда понял. Ты сальца возьми, знатное сальце! И запомни: любое слово умнее пера. А про похоронки – не переживай. Вон предыдущий писарь до тебя все переживал. Как сильно выпьет, навалится мне на плечо и плачет, как мальчишка: «Коль, прости меня, что не погиб, ведь я за всю войну ни разу не был на передовой...» Просил прощения у меня, а сам как будто говорил со всеми теми, на кого довелось ему писать извещения.



Угадай, где я сейчас?

В ванной.

Помнишь, царь Давид пришел в купальню и вдруг увидел, что он гол и нет ничего.

Вот и я голая, и нет ничего.

Лежу и наблюдаю за собственным пупом.

Какое чудесное занятие!

У тебя пупок узелком, я помню.

А у меня колечком.

У мамы тоже колечком.

Колечко в бесконечной цепочке. И получается, что я за него подвешена в этой цепи людей. Вернее, цепочка эта идет ведь дальше. И в обе стороны. И за нее все подвешено.

Так странно: вот это колечко у меня в животе и есть пуп земли. И та цепь, которая проходит через него, – это и есть ось Вселенной, вокруг которой движется мироздание – вот сейчас со скоростью миллионов световых зим.

Нет, это он – гол и нет ничего. А у меня в одном только пупке все мироздание от начала до конца!

Еще вспомнила, как у меня в детстве была ветрянка, все тело в прыщиках – и папа сказал: – Смотри-ка, как вызвездило!

И я играла, что сыпь на животе – это созвездия, а пупок – луна. Через много лет увидела, что так изображали древние египтяне богиню неба Нут, заболевшую моей звездной ветрянкой.

А теперь вдруг так захотелось, чтобы под этот небосвод забрался наш с тобой ребенок. Глупо? Рано?

Так приятно думать, что мы с тобой сидели в этой ванне – помнишь, лицом друг к другу, еле поместились. Я мыла моими волосами тебе ноги, как мочалкой. А потом ты взял мою ногу и укусил за пальцы, совсем как папа, он когда-то так делал мне маленькой, рычал и грозился:

– Я тебя сейчас съем!

И кусал мои пальцы на ногах. И мне было щекотно и страшно – вдруг и правда откусит!

А потом я забралась тебе за спину и просунула ноги у тебя под мышками вперед, и ты их мылил губкой и тер пятки и между пальцами, и мне это все ужасно нравилось.

Мне так нравилось, как ты меня намыливал везде-везде!

Любимый мой, ну почему ты сейчас не здесь и не видишь, как переливается и блестит в воде у меня золотистая шерстка там...

Прости! Я дура.

Представляешь, между шестым и восьмым месяцем ребенок покрыт шерстью, которая потом выпадает. В больнице нам показали такого ребенка после ранних родов – ужас!

А знаешь, почему люди потеряли шерсть и стали голыми? На лекции вчера рассказывали. Ведь шерсть – это такая полезная вещь! Посмотри на кошку! Мягко, удобно, красиво, ласково! Представляешь голую кошку? Это же несчастье! Так вот, дело в том, что был потоп. И про Ноя все это сказки – никто на самом деле из людей не спасся. А какие-то обезьяны выжили, потому что стали жить в воде. Сколько-то тысяч поколений мы были водяными обезьянами. Поэтому и ноздри у нас – вниз, а не вверх. И у дельфинов, тюленей тоже пропала шерсть.

Вот и я – водяная обезьяна. Сажу тут и мечтаю, как ты вернешься и мы залезем в ванну вместе.

Смотрю на себя и переживаю, что у меня много волос там, где не надо. Ты сказал, что тебе нравится, а мне и сейчас кажется, что ты просто не хотел меня огорчать. Ну, скажи, как может нравиться, если волосы вот здесь, и здесь, и тут, и даже вот где!

Сажу и выдергиваю пинцетом. Больно!

Так и представляю себе какую-нибудь пещерную девушку, которая выдергивает себе волоски, используя две морские раковины вместо щипцов. И выскабливает волосы под мышками и на ногах лезвиями, сделанными из кремня или рогов животных.

Везет Янке, у нее волосы везде светлые и маленькие.

Любимый мой, о чем я? Зачем? Несу какую-то чушь, а ты терпишь.

Янка шлет тебе привет, она заходила вчера.

Очень смешно рассказывала про своего нового ухажера. Представляешь, в нее влюбился старик и сделал ей предложение!

Он ей говорит:

– Деточка, я влюблялся в женщин, когда твои родители еще не родились.

Янка изобразила, как он встал перед ней на колени и стал звать замуж, обхватил ее за ноги, прижимается, а она смотрит на лысый затылок, и, с одной стороны, жалко его до слез, а с другой стороны, так захотелось дать ему шелбан, еле удержалась!

Она, разумеется, отказала, но сияет, будто медаль получила.

Он всю жизнь проработал гравером и развлекал ее рассказами о том, какие надписи ему приходилось делать на часах и портсигарах.

Представляешь, что он ей подарил? Протягивает красивый футляр, как от кольца. Она открывает, а там – рисинка! Он на этой рисинке что-то ей написал. Сказал:

– Яночка моя! Вот тебе самое дорогое, что у меня есть!

А она потом дома приготовила лупу, открыла коробочку, чтобы разглядеть, что там написано, а рисинка выскочила из пальцев и куда-то ускакала. Искала-искала и не нашла. Так и не знает, что он там нацарапал.

Что они все в Янке находят? У нее заячий прикус. Лопухая. Скрывает уши волосами.

Это я тебе пишу уже в комнате, закуталась в одеяло, устроилась на диване.

Ты первый сказал мне, что я красивая. Ну, конечно, кроме папы. Но я ему не верила. А маме верила. Она говорила:

– Страшилка моя.

Она была в своем шелковом китайском халатике с голубыми драконами, переливающимся, струящемся. Мы залезали с ногами на широкую старую софу, устраивались поуютнее и шептались. Говорили обо всем на свете, она мне все рассказывала. Например, как я родилась – не хотела вылезать, и пришлось делать кесарево. Я трогала пальцами твердый рубец у нее на животе, и было странно думать, что я оттуда взялась. Да мне и сейчас странно.

И про первый раз мы с ней говорили.

– Это должно произойти красиво, – сказала она. – И только с тем, кто будет этого достоин. Главное, чтобы ты не пожалела о том, что это произошло. Пусть ты не выйдешь за него замуж, пусть вы расстанетесь потом – все бывает, лишь бы ты не жалела о той ночи.

Про страшилку я ей больше верила, чем отцу, хотя она меня постоянно ругала, твердила, что у меня нет вкуса, что не так одеваюсь, не так разговариваю, не так смеюсь. Я с ней всегда чувствовала себя виноватой. Мне и в голову не могло прийти, что она слишком строга или несправедлива ко мне. Он видел во мне достоинства, а она – недостатки.

Папа меня никогда даже не шлепнул, а от нее я все детство получала и ремнем, и пощечины. Однажды они ругались, и я подошла к ней сзади, чтобы обнять, а она запивала таблетку, и я случайно ее толкнула под локоть. Она облилась и набросилась на меня, стала бить и не могла остановиться. Папа меня выхватил.

Они ругались из-за меня.

Папа кричал:

– Зачем ты ее постоянно тюкаешь?

Она отвечала:

– Иначе кто из нее тогда вырастет?

Куда-то она уехала на несколько дней и, вернувшись, устроила скандал, что дома все неубрано. А в следующий раз я все к ее приезду убрала, навела такой глянец, а она все равно

была недовольна, даже еще больше. Может, почувствовала, что мы с папой прекрасно можем жить без нее, что жизнь дома в ее отсутствие протекала совершенно нормально.

Она все время повторяла где-то вычитанное, что жизнь – это не роман, что она не усыпана розами, что в ней надо делать не только то, что хочешь, и вообще мы явились на землю не для того, чтобы развлекаться.

Не любила, когда я уходила из дому, ей не нравились мои подруги, она ненавидела Янку. Считала, что все плохое во мне – от нее.

Папа всегда за меня заступался:

– Но ей же нужны подруги!

Все кончалось мамиными слезами:

– Ты всегда на ее стороне!

И она чувствовала, что между мною и папой существует больше, чем между ними. Наверно, мы обе ощущали, что для отца я значу больше, чем она.

Однажды я поняла, что именно я в ней не люблю. Она – женщина, у которой все правильно в жизни – все именно так, как она и хотела, – и никак иначе быть не может. Она всегда знала, чего хочет и как этого добиться. И с мебелью так, и с людьми. Она и в школе была пятерочницей. И подруги у нее были какие-то несчастные, которых она учила всегда, как надо жить. И внутри презирала их за то, что они так не могут, что у них все не по-людски. И всегда наклеивала фотографии всех наших отпусков в фотоальбомы, где счастье было запротоколировано. Она хотела и меня, и отца подогнать под свои фотоальбомы. А ничего не получалось.

Отца приглашали сниматься все реже и реже. Он переживал, срывался. Дома он не пил, но приходил все чаще пьяным. Я его спрашиваю:

– Папа, ты пьяный?

А он отвечает:

– Нет, зайка, я притворяюсь.

Они скандалили, будто не знали, что злые слова нельзя взять назад и забыть. Не знали, что люди ругаются на полную, а мирятся наполовину, и так каждый раз от любви отрезается, и ее становится все меньше и меньше. Или знали, но не могли ничего поделать.

А я запиралась от них и умирала от нелюбви.

Хуже всего было зеркало. Вот неглаза, вот нелицо, вот неруки. Вот негрудь – нетронутая даже загаром – обещает быть, но все не приходит.

И не понимала, как такое могло получиться, что мама – красавица, а я – вот.

Думала, как странно, что это называется мной.

И какое несчастье – быть этим.

У Янки давно уже была и первая любовь, и вторая, и третья, а я уже поверила, что у меня вообще никогда ничего не будет. И выла беззвучно, уставившись на обои.

И вот тогда у нас в доме появился он. Они были с папой дружны в молодости. А теперь он стал режиссером и взял папу сниматься в свой фильм.

Он был рыжим, а ресницы жгуче-красные, длинные, густые. Как рыжая хвоя. Вообще волосы какой-то зверской густоты. За столом было жарко, он расстегнул рубашку, закатал рукава, и были видны бицепсы, мощные, усыпанные веснушками. И сквозь ворот рубашки на груди пробивались рыжие клочья.

Помню, он говорил, что только что с моря, но кожа светлая, не загорает, только розовеет.

Он стал приходиться часто.

Папа показал мне фотографию, на которой они вдвоем дурачатся, висят на перекладине вниз головой. Я смотрела на тех мальчишек и подумала еще тогда – до того, как стать отцом, мой папа уже был моим папой? А этот рыжий уже тогда был им? Кем им?

Он был старым холостяком, и папа с мамой все шутили, что его нужно женить. Один раз сказал:

– Если видел раз женскую грудь – все равно что видел ее у всех.

А мама возразила, что ничего подобного, женские груди – как снежинки, нет ни одной похожей, и они засмеялись. Мне все это было странно и неприятно.

Он называл меня Сашкой-промокашкой. А я в его присутствии совершенно терялась. Вернее сказать, я с ним снова раздваивалась, но та, которая боялась, была здесь, а другая, которая ничего не боялась, куда-то исчезала в самый неподходящий момент.

Он зайдет ко мне, взглянет на обложку и спрашивает:

– Как там Троя? Еще держится? Или уже взяли?

Я набралась храбрости и спросила, про что он хочет снять кино. Он ответил:

– Вот ты, к примеру, пила кефир, и у тебя после этого остались белые кефирные усики, а на улице – написали во вчерашней «Вечерке» – автобус наехал на остановку, где ждало этого автобуса много людей, и они погибли. И между кефирными усиками и этой смертью есть прямая связь. Да и между всем остальным на свете.

Я влюбилась в него без памяти.

Когда он был в гостях, я незаметно выскальзывала в прихожую, чтобы понюхать его длинное пальто, белое кашне, шляпу. Он пользовался каким-то незнакомым одеколоном – и запах был восхитительный, терпкий, мужской.

Я не могла спать. Теперь я умирала от любви. Ночи напролет рыдала в подушку. В дневнике каждый день выводила страницами: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя».

Мне было так больно. Я не понимала, что с этим со всем делать.

Мама все видела и переживала вместе со мной. Не знала, как помочь. Обнимала меня и утешала, гладила, как маленькую, по голове. Пыталась образумить:

– Ты еще совсем ребенок. У тебя острая потребность не только быть любимой, но и отдать свою любовь. Все это прекрасно. Но кого любить-то? Твои женихи еще только в солдатики перестали играть. И вот отсюда все эти слезы в подушку, зависть, фантазии, грезы, обида на судьбу, злоба на весь мир, на самых близких. Будто самые близкие именно во всем виноваты. И тогда ты начинаешь себе все придумывать.

Она убеждала меня, что для любви еще рано, что все это еще ненастоящее. Я ревела:

– А что настоящее?

Она сказала:

– Ну, вот как у нас с папой.

И папа заходил ко мне в комнату, садился на край постели и почему-то виновато улыбался. Будто это его вина. Будто это какая-то тяжелая болезнь, и он ничем не может мне помочь. Вздыхал:

– Зайка, я тебя очень люблю. Ну почему этого мало?

И так их становилось жалко!

Я стала писать ему письма. Отправляла каждый день. Не знала, что писать, и просто посылала ему в конверте то, что было в тот день частью меня, – билет на трамвай, перышко, список покупок, нитку, травинку, жука-пожарника.

Он несколько раз ответил. Написал что-то шутовское, вежливое. А потом тоже стал посылать какие-то глупости: оборванный шнурок, обрезки киноплёнки. Один раз я достала из конверта салфетку, в которую был завернут его зуб, выдернутый накануне. На салфетке было написано, что посылается это с надеждой, что если с моей стороны и была любовь, то теперь уже точно пройдет. Зуб, правда, был страшный. А я взяла и засунула его за щеку.

Один раз он пришел, долго говорил о чем-то с папой и мамой за закрытой дверью, потом зашел ко мне. Я стояла у окна как в параличе. Он хотел подойти, а я задернула занавеску, спряталась.

Он сказал:

– Сашка-промокашка! Бедная моя влюбленная девочка! Разве можно влюбляться в такое чудовище? Послушай, я должен тебе объяснить одну важную вещь, хотя убежден, что ты сама за этой занавеской все понимаешь. Ты любишь вовсе не меня, а просто любишь. Это совсем разные вещи.

И ушел.

Больше у нас при мне он не появлялся. И на мои письма не отвечал.

Однажды я прогуляла школу. Просто решила – не пойду – и не пошла. Бродила под дождем, не замечая, что с неба течет, как не замечают дождя коровы.

Его зуб держала в кармане в кулаке.

Запомнилось только, что в носу застрял запах горелой урны. Да в забрызганной витрине фотографа – подсахаренные молодожены.

Продрогла, промокла. Поплелась домой.

Открываю дверь в квартиру – на полу у входа чей-то огромный зонт врасстырку.

Чувствую – знакомый запах в прихожей. На вешалке – долгополое пальто, белое кашне, шляпа.

Из ванной – шум воды.

Дверь в спальню открыта. Мама выглядывает – растрепанная, затягивает на голом теле свой китайский халатик с драконами. Спросила испуганно:

– Саша? Что случилось? Что ты здесь делаешь?



Нынче вызывает начальников начальник и командиров командир, говорит:

– Садись, пиши приказ.

Сажусь. Пишу.

– Братья и сестры! Солдатушки! Контрактники, миротворцы и ассасины! Отечество расползается, как промокашка под дождем! Отступать некуда! Ни шагу назад! Ух ты, смотри-ка! Видел, какая у нее попка? Да нет, не у той! Уже за угол завернула. Про попку зачеркни. Так, на чем мы остановились? Ах, да! Так вот. У волосов с темя на середине завивать волосяную косу, которую ввязывать спустя в лентошную косу. Тупеев не иметь. Виски опрывать всем одинако, как и ныне в полку учреждено, в длинную одну буклю, но расчесанную и зачесанную порядочно, чтоб на сосульку не походила, в мороз делать оную шире, чтоб закрыла ухо. Сие упражнение сохранит от праздности, которая есть всех солдатских шалостей источником. Довольно кажется сей причины, чтобы в оной солдата упражнять непрестанно. Башмакам быть по размеру каждого, не широким и не узким, чтоб можно было в морозы в них соломки или охлопочков положить, а паче не коротким, дабы в ходьбе ног и пальцев не обтирали, отчего солдат в походе часто не может за прыткими следовать, но прямо бы на ноге сидели. Всегда им быть исправно вычиненным, вычищенным и намазанным, ежедневно переменять их с одной ноги на другую, чтоб не сносились и в походе и ходьбе ног бы не портили. Бриться не забывать. Немогузнайкам объясняю: ношение бороды может означать проигрыш в поединке, потому что за нее удобно ухватиться и победить противника. Завтра выступаем. Путь далек. Ночь коротка. Спят облака. Сперва пойдем по дружественному нам царству попа Ивана, о чьем великом могуществе говорит весь свет. Вот в «Вечерке» пишут, что взял измором самого Чингисхана. Место это труднопроходимое и свирепостью свирепо. Строжайше рекомендую всем господам полковым и батальонным начальникам внушить и толковать нижним чинам и рядовым, чтобы нигде при переходе местечек, деревень и корчм ни малейшего разорения не делать. Пребывающих спокойно щадить и нимало не обидеть, дабы не ожесточить сердца народа и притом не заслужить порочного названия грабителей. В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Для сбережения пули на каждом выстреле всякий своего противника должен целить, чтобы

его убить. Кого из нас убьют – царство небесное, живым – слава! Паникеры и трусы должны истребляться на месте. За мной, в атаку, ура! Ступай, ступай! Атакуй! В штыки! Стрелки, вперед! Докальвай! Достреливай! Вали на месте! Всех побьем, повалим, в полон возьмем! Гони, коли! Режь, бей! Хрой, прикак, афох, вайрках рок, ад!

Он прервался, чтобы отдышаться, растегнул пуговицу на воротнике, подошел к окну. Промокнул занавеской пот на лбу. Достал из кармана портсигар. Постучал папиросой по крышке. Сломал спичку о размокший коробок. Вторую. С третьей закурил. Сделал глубокую затяжку. Выпустил дым густой струей в форточку.

На какое-то мгновение ему показалось, что все это уже когда-то было: точно так же сидел в этой комнате этот перемазанный чернилами мальчишка, который так напоминал его погибшего сына. Молоко на губах не обсохло, и женщины еще кажутся таинственными. Уже был вот этот давно остывший заварочный чайник с отбитым носиком. Все точно такое же, как тогда: вот эти обои в мелкий красный цветочек – как сыпь – будто заразились от сквозняка ветрянкой. Вот эта связка вяленой рыбы, что висит на шпингалете, протетая сквозь глаза. Вот этот прохожий, прошаркавший за окном, – оба кармана пиджака оттопырены бутылками. Вот эта вывеска напротив, на которой кто-то залепил грязью букву Б, и получилась ГАРНИЗОННАЯ АНЯ. Откуда-то из-за угла донесся детский треск прутиком по штaketнику.

Вот провел рукой по подбородку, и слышно, как шуршит щетина. И точно так же было – проводил, шуршала.

Подумал, что секрет дежавю, наверно, заключается в том, что в книге бытия все это написано, конечно, только один раз. Но оживает опять, когда кто-то снова читает ту страницу, которая уже была когда-то прочитана. И тогда снова оказываются живы и эти обои, и прутик по штaketнику, и пахнущая вблизи рыба, повешенная на шпингалете, и шуршание этой щетины, и чайник с холодной заваркой, и женщины еще таинственны.

Значит, просто кто-то читает сейчас эти строчки – вот и весь секрет дежавю.

Выстрелил щелчком окурков в окно, тот полетел кувырком.

Пососал из отбитого носика чайника горькую холодную заварку. Вытер губы рукавом.

Стал диктовать дальше:

– В-третьих, и, может быть, самое главное – без нужды не убивать. Помните, они – такие же люди. Ребята, будет трудно. И идти придется далеко, на край света. Туда даже Александр Македонский не добрался, дошел только до границы и приказал поставить мраморную колонну и написать на ней стих: «Я, Александр, дошел до этих мест». Не верите? Я вам покажу. У кактусов там ушки на макушке и народ нагомудрый. Когда Александр Македонский увидел их, то весьма удивился и сказал: «Просите что хотите, и я дам это вам!» Они ответили ему: «Дай нам бессмертие, которого мы больше всего желаем, а других богатств нам и не надо». Александр же сказал им: «Я смертный, как же могу дать вам бессмертие?» А они ему: «Если ты считаешь себя смертным, то зачем, совершая столько зла, скитаешься и блуждаешь по всему миру?» Вишь, им палец в рот не клади. А чуть отвернешься, получишь пулю в затылок. Поедем сначала по железной дороге, а потом морем. А то, что прибыли на место, пойдем, как только увидим людей с песьими головами. И еще мы пойдем с веслами, а они нас спросят, что это за лопаты мы несем. Еще там существуют публичные лупанары женоподобных мужчин и другие бесчисленные мерзости, так что будьте всегда начеку! Для нас мир – процесс, для них – результат. Они считают знание воспоминанием. Каждый знает свое будущее – и все равно живет свою жизнь. То есть получается, что любящие любят друг друга еще прежде того, как узнают друг о друге, познакомятся и разговоятся. А еще они не молятся о себе, потому что в чем наша польза – мы не знаем. Божества у них нехитрые, но их столько же, сколько птиц, деревьев, облаков, луж, закатов и нас. Относительно существования иных миров они находятся в сомнении, но считают безумием утверждать, что вне видимого ничего не существует, ибо, говорят они, небытия нет ни в мире, ни за его пределами. Они признают два физических начала всех земных вещей:

солнце-отца и землю-мать. Воздух считают они нечастою долею неба, а весь огонь – исходящим от солнца. Море – это пот земли и такое же связующее звено между воздухом и землею, как кровь между телом и духом у живых существ. Мир – это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно червям, живущим в нашем чреве. Но только счастлив ли червь – неизвестно, а человек рождается, живет и умирает счастливым, только все время забывает об этом. И вот эти нагомудрецы поотвинчивали все гайки с рельсов. И ладно бы на грузила! Тоже мне, злоумышленники гребаные! Нет, им, видите ли, железные дороги фэн-шуй портят! Надо уничтожать всю эту мразь безжалостно. Как бешеных собак! Стереть с лица земли всю эту поганую псину! Помните, кто-то должен делать и грязную работу. Мужики! Будем мстить за наших товарищей и боевых друзей, которые пока еще живы, вот они, среди нас, улыбаются, но уже скоро. Главное, знайте, что правда на нашей стороне, а на их – неправда! Но может, и наоборот. Ведь свет – это левая рука тьмы, а тьма – это правая рука света. Ведь и Солнце стремится спалить Землю, а вовсе не производить растения, людей. В этой жизни победителей не бывает, все – побежденные. Тем более что ты их штыком, а они все равно подумают так: «Беспокоиться о том, что будет с тобой после смерти, – все равно что спрашивать себя, что будет с кулаком, когда ты его разожмешь, или с согнутой в колене ногой, когда ты встанешь». И главное, ребятки, берегите себя! Пока не прозвучит наказ – не стрелять! Пифагоровы штаны помните? Эх вы, ветерок в голове! В школе ведь проходили! В одно ухо влетело, в другое вылетело. Учи вас, дураков! Одни юбки на уме. Чему учил Пифагор? Пифагор учил, что когда суждено будет умереть, то, лишь душа твоя покинет мир подлунный и свет солнца, ступай налево по священным лугам и рощам Фарсефонеи. А когда тебя спросят, кто ты и откуда, надо ответить: «Я – козленок – упал в молоко». Ну вот, теперь все, кажется. Да, вот еще что, не плюйте, пожалуйста, в миску с кашей штабному писарю. И вообще, оставьте этого юродивого в покое! Ну, подумаешь, скребет себе перышком свои похоронки. Кому он мешает? Не хочет молиться за царя-ирода? А кто хочет?



Вернулась из клиники и все в себя прийти не могу.

Пошла ведь учиться, потому что хотела помогать давать жизнь, а учат выскабливанию.

Я вообще сначала хотела быть ветеринаром, но, когда увидела, как собак стерилизуют только для того, чтобы людям было удобно, – возмутилась и ушла.

Сейчас напишу тебе и сяду дальше готовиться. Если бы ты только знал, что приходится принимать на веру!

Вот ты думал, откуда взялась одежда? Представь себе, не от холода и не от стыда. От прямохождения! Встали на задние лапки, и появилась необходимость прикрывать половые органы. Но не от стыда совсем – у животных стыда не бывает. У обезьян, чтобы показать половые органы и готовность к спариванию, нужно принять специальную позу. А люди, получается, все время в этой позе! Им, наоборот, нужно прикрыться, чтобы сигнализировать свою неготовность!

Как на самом деле неприятно знать, что у всего есть объяснение. Например, у материнской любви. Знаешь, почему у людей она сильнее? Потому что по сравнению с обезьянкой ребенок рождается совершенно недоношенным. Чтобы появиться на свет таким же зрелым, он должен провести в животе двадцать месяцев! То есть родиться таким, каким становится только в год. И вот женщина продолжает ребенка донашивать – только не внутри, а снаружи. И потом никак не может отпустить. Ребенок вырастает, а мать за него все цепляется, не может расстаться.

В детстве не могла бы просто себе представить, что когда-то придет время и мне захочется мою мать вытошнить из себя, как рвоту.

Когда никого дома не было, я взяла ее парадный фотоальбом и стала выдирать оттуда фотографии, рвать на кусочки и спускать в унитаз.

Начала курить – только потому, что мать не разрешала.

Приду с улицы, и она устраивает проверку. Знает, где нужно нюхать. Не говорит: «Подыши!» – нет, понимает, что после конфетки никакого запаха уже нет. Нюхает руки. Одежда, волосы пропитаются табаком, если кто-то рядом курит. А вот руки – только если самой держать сигарету.

Я и не пряталась – курила открыто, ей назло.

Папа мне говорил потихоньку:

– Доча, ну чего ты лезешь на рожон? Спрячь сигареты, вон как нагло из куртки торчат!

Мать ругается, а я ей:

– Я плохая? Хорошо, я буду худшей!

И так заводим друг друга, до слез, до истерики. Наверно, мне это зачем-то было нужно – слезы, крики, топанье ногами, разрывание наволочек. Один раз заперлась и стала обрывать занавески так, что карниз с треском обвалился. Она стучится ко мне в дверь и кричит, что она моя мать и уже поэтому достойна моего уважения, а я кричу в ответ, что я себя в ту яйцеклетку не запихивала и вообще рожать себя не просила и потому ничем ей не обязана.

В другой раз ругает за то, что я взяла ее маникюрный набор и не положила на место, а я думаю, что будет, когда она узнает, что я стала у нее воровать деньги. Они мне и не нужны были – отец всегда давал на сигареты или на что-то еще. Но я должна была перейти какую-то черту.

Отвратительно было смотреть на нее, как она одевается, прихорашивается. Я всегда могла догадаться, куда она собирается, – по ее глазам, растрепанным, скользким.

Представляла себе, как она раздевается перед своим любовником – аккуратно снимает одну одежду за другой, расправляет, тщательно складывает.

Мне было тогда шестнадцать, и я, без всякого перехода, почувствовала в себе перемену – еще только что была ребенком и вдруг – очень одинокой женщиной.

Я ушла тогда из дома. Крикнула, что больше к ним не вернусь, и хлопнула дверью. А пойти некуда. Пошла ночевать к Янке. Она упросила родителей оставить меня на одну ночь. У нее только мама и бабушка, и она называла их родителями.

Отец бегал везде, искал меня до поздней ночи, хотя мог бы сразу догадаться, где я. Пришел, стал требовать, чтобы я немедленно шла домой. Перед Янкиными родителями было неудобно. Я сказала ему:

– Хорошо, вернусь. Но что делать с тем, что я и ее, и тебя больше не люблю? Я вас презираю – с этим что делать?

Думала, он меня ударит. Не ударил. И всю дорогу обратно шел молча, только шмыгал носом.

Не знаю, зачем сейчас это вспомнила.

Единственный мой, как же мне тебя не хватает!

Каждое твое письмо перечитываю по многу раз и там, где точки, ставлю поцелуи.

И вообще я живу только от письма до письма.

Прохожу мимо памятника, он на месте, а где наше свидание?

И еще все время пытаюсь найти какое-то оправдание тому, что ты сейчас не здесь, не рядом со мной. Не объяснение, а оправдание. Ведь зачем-то это надо, если это так есть. И вот что я подумала. Это как в детстве – если у тебя что-то есть, то этим надо делиться. Вот тебе дали конфеты, а у других нет. И нужно делиться. А то ведь могут и просто все отнять. И вот нужно в этой жизни делиться самым дорогим. И чем дороже, тем больше нужно отдать. Делиться самым любимым – а то совсем отнимут.

Целую тебя, любимый! Будь здоров, будь осторожен, счастье мое! Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о тебе.

Если бы тебя не было, я утонула бы в самой себе, барахталась в своей пустоте, не находя точки опоры.

И так страшно, что с тобой что-то случится.

Почему-то вспомнила, как ты рассказывал про каких-то птиц, которые любят в полете. Не могу вспомнить, как они называются?

Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Забеременеть от тебя всем – ртом, глазами, пупком, ладонями, всеми отверстиями, кожей, волосами, всем!



Подали вагоны. Сорок человек, восемь лошадей, один хомячок. Так странно все устроено в этой жизни! Люди быстро звереют по отношению к людям, делаются мерзлыми, жестокими – и оттаивают, становятся человечными по отношению к живущей в кармане зверушке. Жалеют. Преображаются вдруг, когда гладят ее пальцем по спинке.

Длинный вагонный день.

Проезжаем, наверно, царство попа Ивана.

Телеграфные столбы, мосты, деревянные бараки, кирпичные фабрики, свалки, запасные пути, склады, элеваторы, поля, леса, снова запасные пути, пакгаузы, водокачки.

Эшелон тащится еле-еле. У закрытого шлагбаума на переезде телега. Беременная стрелочница чешет в затылке свернутым зеленым флажком. Коза, привязанная к колышку, смотрит внимательно.

На открытых местах дым паровоза стелется по земле, цепляется за жухлую траву.

На какой-то станции вчера был несчастный случай – видел сцепщика, раздавленного буферами.

Вот снова набираем скорость – вниз, где рельсы, – заструилось.

Искали доказательство, что земля на оси вращается, – да вот оно, за окном.

Проехали какую-то деревню в дюжину дымов и душ.

Думаю много о матери. На прощание приехала со своим слепым, хотя я просил ее этого не делать.

Вдруг пришло в голову, что по-настоящему смогу ее любить, только когда она умрет. Кто это сказал, что кровное родство – самое далекое? Как жестоко и верно!

Вспомнил, как они уходили – на каждый его шаг приходилось два ее коротких шажка.

Странное слово – пасынок.

Мама познакомилась с моим отчимом через бабушку. Сколько мне было, восемь? Он приходил к нам несколько раз, мама угощала его чаем и молча делала мне за столом угрожающие знаки, чтобы я сидел тихо и вел себя прилично. Этот человек был мне отвратителен с самого начала.

Ко мне он обращался бодрым насмешливым тоном, каким принято говорить с детьми, глядя на меня при этом своим мохнатым ухом. Я отмалчивался на его глупые вопросы, а мама ласково говорила:

– Сыночек, ну отвечай, тебя же спрашивают!

В этом ласковом голосе была ложь, очевидная нам обоим и очень меня ранившая.

Назло ему я бубнил что-то еще более глупое, и у него на лице расплывалась гримаса – это он так улыбался, к этой улыбке сложно было привыкнуть.

Сашка, хорошая моя, ничего, что пишу тебе об этом? Никогда мы с тобой о нем не говорили.

Ты знаешь, когда я пытался представить себе его мир, мне становилось не по себе. Жизнь слепого казалась мне жизнью землеройки, которая прорывает во тьме, плотной и тяжелой, как сырая глина, норки-туннели и бегают по ним. И все его черное пространство исчеркано такими

ходами. И в одном из этих ходов – мы с мамой. Особенно по ночам он со своей слепотой забирался в мои мозги, и я не мог выскоблить его из своей головы, как ни пытался.

Помню, как мама сказала, совершенно меня огорошив, что собирается выйти за него замуж, и что очень любит этого человека и просит, чтобы я полюбил его тоже. Меня поразило это слово – «полюбил». Полюбить его? В моем сознании просто не укладывалось, как она могла привести в наш дом этого непонятного чужого мужчину со страшными запавшими глазами и зеленоватыми зубами торчком.

Мама попросила, чтобы я дал слепому потрогать мое лицо. И сейчас, через столько лет, вспоминаю это с содроганием.

Представляешь, я даже строил какие-то безумные детские планы, как устроить так, чтобы испортить им свадьбу, – изрезать ножницами мамино свадебное платье, напичкать слабительным торт, еще что-то в том же роде, но свадьбы, как я представлял ее себе, не было вовсе. Он просто переехал к нам и стал жить.

Я никак не мог понять, зачем маме нужен этот инвалид. И запах! Ты бы меня поняла. От него шел тяжелый густой дух большого потеющего тела, я недоумевал, почему мама это терпит, неужели она не чувствовала? Я просто не мог поверить, что она не замечает запаха.

Иногда он делал мне подарки. Помню, как он принес маленькую коробку из кондитерской, а там были пирожные, мои любимые – картошка. Две картошины с дурманящим шоколадным ароматом. Мне так их хотелось съесть! А я пошел в уборную, незаметно прихватив пирожные с собой, и спустил их в унитаз.

Он обрадовался, узнав, что у нас есть специальные шахматы для слепых, которые подарила мне бабушка, но я наотрез отказался сыграть с ним, хотя до этого готов был играть хоть с зеркалом.

Когда мы шли втроем по улице, на нас оборачивались, и я ужасно стыдился. Помню, что при первой возможности, например когда они останавливались перед витриной или заходили в магазин, я старался делать вид, что я сам по себе, просто гуляю в одиночку. Придумывал самые невозможные предлоги, чтобы только не оказаться с ним вместе на людях.

Когда они брали меня в кино, мама шептала ему на ухо, что происходит на экране, и на нее все время шикали, а мне приходилось водить его в туалет. У него что-то было с мочевым пузырем, и в туалет он ходил чуть ли не каждый час.

Больше всего раздражали мелочи. Нельзя было бросать вещи просто так – у каждого предмета теперь появилось свое обязательное место. Нельзя было оставлять дверь полуоткрытой – нужно было или закрыть ее совсем или открыть. Когда он ложился отдохнуть, все в доме должно было замереть. В уборной он положил коробок, и каждый раз после себя сжигал спичку и требовал от всех того же.

Я не мог смотреть, как его руки шарили по столу в поисках сахарницы или масленки.

Задумавшись, он часто запрокидывал голову и давил себе большим пальцем под глазное яблоко.

И сейчас вижу, как он шаркает по нашему коридору, выпялив пальцы.

Мне было неприятно, как вечером мама снимала с него носки и растирала белые корявые ноги. И еще неприятнее – не знаю почему, – что называла его Павликом, как ребенка.

Иногда мне казалось, что никакой он не слепой и все видит. Один раз я случайно заглянул в открытую дверь – отчим, придя домой с улицы, переодевался, снимал ботинки, наступая им на пятки, и вдруг резко крикнул мне:

– Закрой дверь!

Когда мама не могла его куда-то отвести, то просила меня. Отчим держал меня за предплечье. Меня поразило, как он в первый раз сказал:

– Не бойся, это не заразно!

Все смотрели на нас, и я не мог выносить эти сочувствующие взгляды, эти придыхания в сторону: «Какой ужас!» или «Не приведи Господь!». И вести его нужно было плавно, без резких движений и рывков, иначе он начинал сердито выговаривать мне и больно сжимал руку. Помогать ему нужно было уметь. Он бесился, когда сердобольные люди хотели помочь ему и хватили за руку с тростью. А попробуй провести его мимо всех луж, если дождь!

Отчим все время носил с собой железную дощечку с крышечкой, в которой были квадратные окошечки. По дороге ему вдруг приходило в голову записать что-то, мы останавливались, и я ждал, пока он тупым шилом продавливал дырочки в плотной бумаге. Прохожие заглядывались, а мне хотелось провалиться от стыда.

При этом по своим известным ходам-туннелям он уверенно ходил один, резво постукивая по тротуару белой тростью.

На антресолях у нас хранились чемоданы со старыми вещами, мама иногда их перебирала, и однажды она достала большой свитер, приложила ко мне и сказала, что вот я вырасту и буду его носить. Я понял, что это осталось от моего отца. И вдруг я увидел мой отцовский свитер на отчине. Почему-то именно это меня задело больше всего.

В парке на прудах они брали лодку, и отчим садился на весла, а мама управляла. Они не понимали, почему всем нравится кататься на лодке, а мне нет. Им было весело – он принимался черпать воду за бортом и брызгать на нас, мама визжала и заливалась смехом, а я сидел мокрый и злой. А когда я зачерпнул пригоршню черной зацветшей воды и плеснул ему в лицо, мама закричала на меня и ударила по щеке. До этого я никогда не получал от нее пощечины.

Она хотела, чтобы я попросил у него прощения, а я уперся:

– За что? Что я такого сделал? Он сам брызгался!

Мама расплакалась, а отчим утирал ряску с лица и улыбался своей гримасой:

– Ничего, Ниночка! Ничего.

Но я знал, что он меня тоже ненавидит.

Мимо проплывали в лодке какие-то студенты, один из них присвистнул:

– Смотрите-ка, Харон!

Их лодка чуть не перевернулась от хохота.

Я уже знал тогда, кто такой Харон. Я тоже засмеялся.

Мама мне потом сказала, когда мы были одни:

– Сыночек, пожалуйста, прости меня! И постарайся понять. И пожалеть.

Мне тогда показалось это таким странным, что не мама должна меня за что-то пожалеть, а я ее.

Ту пощечину я ей так и не смог простить.

Как-то раз он ушел один и упал, вернулся весь в крови, грязный, с разорванной рубашкой. Мама расплакалась, рылась в коробках, ища пластырь и йод, а отчим капал кровью на паркет. Помню, что мне было его совершенно не жалко.

По воскресеньям мама строго запрещала мне будить их рано и выходила из спальни довольная, напевая что-то, с красными пятнами на шее – раздражение от его щетины. Она у него так быстро отрастала, что отчим брился иногда два раза в день, если вечером они еще куда-нибудь шли. Свет ему был не нужен, и он часто сидел в темноте, и даже брился в темноте – на ощупь и на слух – где еще шаркала бритва.

Однажды была очень душная ночь, и я лежал под открытым окном и не мог заснуть. Было очень тихо, и с улицы долетал каждый шорох. У них в комнате тоже окно было открыто, и до меня доносилось, как они переговаривались в уверенности, что через две закрытые двери я ничего не слышу. Он мурлыкал, что у нее груди густые, а соски как наперстки. И еще что у нее под мышками тропики. И ей все это нравилось, она хихикала.

Как же я в те минуты его ненавидел, а ее презирал!

Потом начала скрипеть кровать. Хотелось вскочить и что-то сделать им назло! Разбить о стену вазу, или заорать, или не знаю что. Но я только лежал и слушал, как они сопели и как звонко хлюпал пот между их животами. И еще она начинала сдавленно кричать:

– Да! Да! Да!

Потом стремглав помчалась, шлепая босыми ногами, в ванную.

Какой-то полустанок. Застряли. Взялся снова записать пару строчек.

Сашенька, зачем я стал рассказывать тебе об отчине? Сам не знаю. Черт с ним!

Лучше о чем-нибудь интересном.

Забавно, что у Демокрита тело делимо только до души – душа последнее неделимое, как атом. Между атомами всегда есть промежуток. «Если бы атомы соприкасались, то они были бы делимы, а по определению они неделимы: ведь соприкасаться можно лишь какими-то частями». То есть тела могут соприкасаться, а между душами всегда будет зазор, пустота.

Есть хочется.

Грачи – черные, маслянистые, будто паровозные семена.

Просто, наверно, люди делятся на тех, кто понимает, как это возможно, что вот я иду чайку попить и в те же без десяти два Земля вертится, причем не находят в этом никакого противоречия, и на тех, кто не может этого понять вообще и никогда.

Стоим у водокачки – паровоз собрался напиться воды.

Сиж у окна и глазею на маневровую «овечку». Когда пыхтит мимо, обдает жаром и липким горячим паром.

Стемнело, а мы все ни с места.

Вообще-то ночью здесь холодно, приходится кутаться в шинель, чтобы не замерзнуть.

По путям ходит вдоль всего состава человечек с молотком на длинной ручке и ударяет по каждой буксе. Он слышит какой-то особый звук, которого, кроме него и буксы, больше никто не слышит.

Ржавеют рельсы на запасных путях.

И вдруг понимаю очень простую вещь, что вот этот полустанок, этот фонарь, удары молотка по буксе, стрекотание кузнечиков из окна телеграфной, запах дыма и горячего паровоза, дышащего паром и смазкой, и вот этот его паровозий вскрик, сиплый, усталый, – это я. И никакого меня другого нигде больше нет и не будет. И все уверения про вечное возвращение – все это сказки. Все только однократно и сейчас. И если мы сейчас тронемся – полустанок скроется, и я исчезну.

Паровозы что-то разревелись. Может, скоро поедет дальше.

А может, это они просто призывают друг друга – как самки и самцы – своими грудными голосами. Ищут друг друга в ночи. Паровозья любовь.

А вот сейчас кто-то одиноко зовет и никто не откликается. Для них, может, это очень нежный голос.

У Грушеньки Достоевского был особенный «изгиб» тела. Думаю все время – что это за изгиб такой?



Любимый мой, мне тревожно.

Забудусь – и лезут мысли, что с тобой что-то может случиться. Возьму себя в руки – и знаю, что все у нас будет хорошо.

Чем дальше тебя нет со мной рядом, тем большей частью меня ты становишься. Иногда даже сама не понимаю, где кончаешься ты и начинаюсь я.

Все, что со мной происходит, реально только потому, что думаю, как тебе про это написать. И без этого я, даже когда мне хорошо, не могу переживать радости. Я должна поделиться ею с тобой, чтобы она состоялась.

Ну вот, например, вчера договорились, что я зайду за Янкой, но пришла раньше, у них занятия еще не кончились, и я решила подождать внутри, чтобы не торчать на улице, лето какое-то нелетнее, холод, ветер. Там ремонт, у подъезда в люльку как раз залезали маляры – один, с огромной незрелой клубникой вместо носа, подмигнул мне, сделал в шутку вид, что сейчас обольет краской из ведра. Я рассмеялась. Как мало действительно нужно, чтобы почувствовать себя вдруг счастливой, – если все это можно потом тебе рассказать. Иначе, понимаешь, всего этого и нет. Ни маляра с его клубникой, ни побитого ведра с охрой.

Походила по коридорам, везде неуютно, дует из окон, отовсюду запах краски, вонь из уборных. Нашла по расписанию комнату. Заглянула. Они там рисуют натуру. Проскользнула, села. Никто на меня даже не посмотрел, все заняты, сосредоточены. Стараются. На помосте стоит женщина, голая, а кругом столько молодых мужчин и не видят. Вернее, видят что-то не то.

В тишине скрип карандашных грифелей, уголь шуршит по бумаге. Один все время выставлял карандаш в вытянутой руке, шурясь, что-то в женщине отмерял.

Профессор прохаживался от одного к другому и большим дверным ключом постукивал по рисунку, мол, тут не так и там не то. Сказал кому-то важно:

– Разберите полутона!

На меня и не взглянул.

Янка говорила про него – «наш Чартков».

Перед натурщицей стоял на полу калорифер, но было видно, что ей холодно, – все время простуженно шмыгала носом.

И стояла как-то не по-женски – расставив ноги и руки. Пустая, как ваза, – тело здесь, а сама где-то далеко.

В этом во всем было что-то ненастоящее – и в этой неженщине, и в этих немужчинах.

И вот тогда в окне вдруг появился тот маляр. Увидел ее и замер с валиком в руке.

А она заметила его и сразу прикрылась. Таким женским жестом – одна рука сюда, другая туда. И стала вдруг настоящая.

И так захотелось ее нарисовать!

Тут все стали собираться, она накинула халатик и шмыгнула за ширму.

А я еще подумала, что все это тебе расскажу.

Вот, рассказала.

А сегодня проснулась и лежала, не открывая глаз, только слушала все звуки кругом, такие живые, такие простые, такие домашние – вот где-то строчит с утра пораньше швейная машинка, гудит лифт, хлопает дверь подъезда, трамвай дребезжит в конце улицы, какая-то птица верещит в форточку. Ты бы взглянул на нее и сказал, как она называется.

И невозможно поверить, что где-то война. И всегда была. И всегда будет. И там по-настоящему калечат и убивают. И на самом деле есть смерть.

Поверь мне, милый, хороший, родной, с тобой ничего не случится!



Принято из порту для продовольствия команды: сахару 19 пуд. 5 ф. 60 зол.; чаю 23 фун. 1/3 зол.; табаку 7 пуд. 35 ф. и мыла 8 пуд. 37 фун.

Больных два матроса и 14 солдат № 4 Линейного батальона. Воды в трюме 5 дюймов по выкачке.

Того же дня пополудни. Ветер тихий, ясно, высота бар. 30, 01 по тер. 13 1/2. Сего числа свезено на берег: ящик с амуницией – 1; бочек с мясом – 4; пеньки 25 пудов; муки ржаной

29 пудов; крупы 4 пуда; ящик с (неразборчиво) – 1; патронов 2160 штук, котлов чугунных 3; веревок 5 пуд. 20 ф.; листового железа 50 листов; невод 1; лошадь 1 и быков 2. В 12 ч. воды в трюме 24 дюйма.

Ходовых дней 192, якорных 102 дня.

Сегодня команде дали червивое мясо – и ничего, схавали. Никакого бунта.

Через четыре месяца мы достигли равнинного острова величиной в одну милю и спустились с корабля, чтобы приготовить себе пищу. Как только был разожжен огонь, остров сам ушел под воду, мы же побежали как можно быстрее обратно на корабль, оставив там наши припасы с горшками. Нам сказали, что это не остров, а рыба под названием Ясконтий, которая, почувствовав огонь, вместе с нашими припасами ушла под воду.

Поплыв дальше на север, мы в течение шести дней шли между двух гор, покрытых туманом. Приблизившись к острову мы увидели разных редких животных и лесных людей без одежд. Дальше мы поплыли к острову, на котором уже обитают псоглавцы и обезьяны размером с годовалого теленка, где простояли пять месяцев за непогодю; мешала она нам плыть дальше. У здешних жителей и головы, и зубы, и глаза собачьи. Иноземцев, коли поймают, поедают. А здешние плоды не такие, как у нас.

Здесь очень жарко. Солнце палит так, что еле-еле выдержишь. Опустить яйцо в реку, не успеешь отойти – оно сварилось. Родится тут много ладану, но не белого, а коричневого. Много тут амбры, есть у них банбасина и много других товаров. Еще здесь рождаются огромные слоны, зверь единорог, птица попугай, дерево эбен, красное сандалное дерево, индийские орехи, гвоздика, бразильское дерево, корица, перец, немые цикады и благоуханный камыш. Еще водятся здесь павлины, они и больше, и красивее наших, и на вид совсем другие. И куры у них не такие, как у нас.

Много инбирю и шелка на этом краю света. Сколько тут дичи, так просто удивительно. За один венецианский грош можно купить трех фазанов. Народ тут злой; воровать и разбойничать за грех не почитается, таких насмешников и разбойников в свете нет. Живут тут идолопоклонники, и деньги у них бумажные, мертвых своих сжигают, всяких харчей у них вдоволь, но едят они фараоновых крыс.

Молятся они разным вещам. Встал человек утром – первое, что увидел, тому и молится.

Полярной звезды тут совсем не видно, но если встать на цыпочки, то поднимается она над водою на локоть.

Мертвых сжигают они, по их словам, вот почему: если не сжигать мертвых тел, в них завелись бы черви, сожрали бы те черви все тело, из которого вышли, нечего было бы им есть, пропали бы они все, а на душе того, чье тело, был бы тяжкий грех. Поэтому-то и сжигают они мертвые тела. И у червей, говорят они, – душа.

Иду с веслом, а прохожий спрашивает:

– Что за лопату несешь?

Представляешь, Сашенька моя, сначала было бразильское дерево, и только потом уже Бразилия.

Вышел на палубу, на носу никого, укрылся от ветра за лебедкой. Здесь хорошо за брезентовым чехлом, можно в рукав покурить.

Море и небо – странно, что где-то они могут существовать порознь.

Скоро начнется. Сашенька, может быть, меня убьют. Это все равно лучше, чем вернуться калекой. И не приведи Господь, если придется убивать самому.

Ты знаешь, я ко всему готов.

Смотрю на волны, на тучи. Под ногами глухие толчки. Рокот из машинного отделения. И такое странное ощущение в душе, не знаю, как тебе объяснить.

Ветер будто пытается засунуть дым обратно в трубу. Ни черта у него не получается.

Чайка замерла в небе, остановилась – задумалась. Потом вспомнила что-то важное, может, что жить с гулькин нос, и бросилась стремглав.

Зачем я тебе и себе вру? Я совершенно ни к чему не готов!

Выбросили за борт бак с отходами – чайки беснуются.

Понимаешь, Сашка, наверно, так: вещественная, видимая оболочка мира – материя – натягивается, засаливается, трется и протирается до дыр, и тогда в дырку, как палец ноги из рваного носка, лезет суть.



Мой милый, дорогой, ненаглядный, единственный!

Слушай, что произошло!

Я поехала на велосипеде в тот наш лес, потом пошла туда, где заброшенный аэродром. Помнишь?

Все заросло травой, на летном поле свалка, ангары пусты. В них наложены кучи. Везде заросли ржавой колючей проволоки.

Думаю, чего сюда приперлась? Вот только ноги обожгла о крапиву. И носки все в семенах травы.

А солнце уже садится.

И вот возвращаюсь обратно к велосипеду и вижу: пук ржавой колючки с меня ростом пророс лебедой. И, освещенный закатом, он начинает рдеть. Горит, как куст.

И вдруг говорит:

– Стой!

Я стою.

Он молчит.

Я его спрашиваю:

– Кто ты?

А пламенеющий пук:

– Не видишь, что ли? Я – альфа и омега, Гог и Магог, Гелдат и Модат, одесную и ошуйю, вершки и корешки, вдох и выдох, семя, племя, темя, вымя, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я есмь то, что я есмь. Швец, жнец и на дуде игрец. Не бойся меня. Просто с разными людьми говорю по-разному. Ведь мы живем в мире, где каждая снежинка отличается одна от другой, зеркала на самом деле ничего не отражают, и у каждой родинки есть свой непохожий на других человек. Говори!

Я:

– А что мне сказать?

– Скажи: все кругом – это весть и вестник одновременно.

Я:

– Все кругом – это весть и вестник одновременно.

Пламенеющий пук:

– Ну, и в чем проблема?

Я:

– Они все хотят мне объяснить, что для любви другой не нужен. Мол, еще Платон говорил: любовь присутствует в любящем, не в любимом.

Он:

– При чем здесь это? Мало ли кто что сказал? Чего ты их всех слушаешь?

Я:

– Что же мне делать?

Он:

– Посмотри на себя!

Я:

– Страшная?

Он:

– Я не про то. Вот семена травы у тебя на носках. Это ведь тоже вестник и весть. Деша. О жизни. О победе. Это одно и то же. В этой жизни побежденных не бывает, все – победители.

Я:

– Но я хочу быть с ним!

Он:

– Скажи слова!

Я:

– Какие слова?

Он:

– Ты знаешь.

Я:

– Я? Откуда же мне знать?

Он:

– Подумай!

Я:

– Ну что, венчается, что ли, раб Божий Вовка-морковка вот с этой? И еще на ногу наступить, чтобы быть на кухне главной?

Он:

– Нет, нет, не то!

Я:

– Но я не могу угадать!

Он:

– Не нужно гадать. Ты все уже знаешь. Посмотри, вот комар. Вот облако. Вот твои пальцы с заусенцами и шрамом у самого ногтя.

Я:

– Кажется, начинаю понимать.

Он:

– Вот мир видимый. А вот – закрой глаза – невидимый.

Я:

– Поняла!

Он:

– Ну же?

Я:

– Я все поняла.

Я все поняла! Мы уже муж и жена. Мы всегда ими были. Ты – мой муж. Я – твоя жена. И это самая чудесная рифма на свете.

♠

Уважаемая имя-отчество!

С глубоким прискорбием сообщаю Вам, что Ваш сын.

В общем, Вы уже сами все поняли.

Крепитесь.

Понимаю, каково Вам сейчас. Тут никакие слова не помогут и не утешат.

Поверьте, и мне нелегко все это писать. Но это жизнь. Служба. Нет слова «не хочу», есть слово «надо».

Пусть Вам будет хоть каким-то утешением, что он погиб не просто так, а за что-то хорошее и большое. За что именно? Ну, хотя бы за ту же Родину.

Понимаю. Не то.

Короче, он погиб в бою.

В каком бою?

Достаточно сказать, что Ваш сын не вернулся с одной, как выразился поэт, незначительной войны. Так что какая разница? За белых, за красных, за эллинов, за иудеев.

Какая разница, на какой незначительной войне погибнуть?

Понимаю, Вам важно знать, поля какой именно вражеской империи унавозит Ваша кровиночка. Не все ли равно? Да хоть Поднебесной.

Приехал Кутузов бить французов, а Ваш сын, как шутят наши нижние чины, приехал к китайцам дать им по яйцам. Ну и вот результат. Распишитесь в получении.

Кстати, про наших чудо-богатырей и в газетах писали! Вот, во вчерашней «Вечерке» на третьей полосе: «Труден путь солдата к Георгию!»

Прилагаю.

«Как это ни печально, – сообщает ваш специальный корреспондент с театра боевых действий, – но опыт первых дней войны показал, что иначе невозможно: пробовали щадить и получали в тыл залпы из зарослей гаоляна. А почитайте-ка их воззвания, прибитые на каждой кумирне!

Нет дождей,
Земля сохнет —
Янгуйцзы нарушили всеобщую гармонию.
Разгневанное небо
Послало на землю
Восемь миллионов небесных солдат.
Вот расправимся с янгуйцзы,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.